

10335
1967

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

№1-4

1967



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

10335

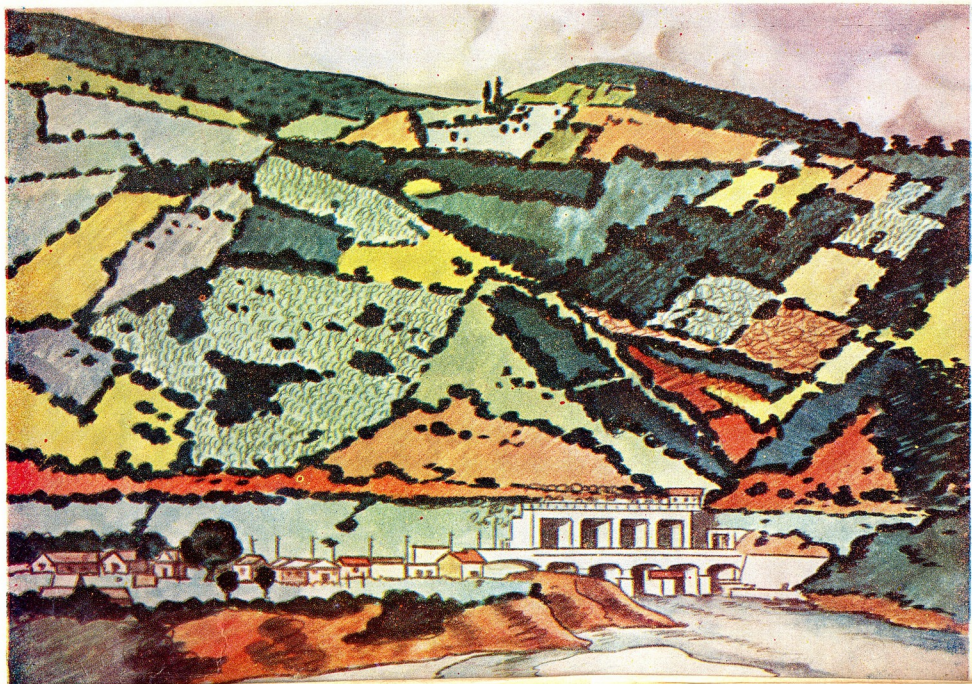


73



1 9 6 7





ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТ-
ВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



ЛИТЕРАТУРНАЯ Грузия

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ
ГОД ИЗДАНИЯ ОДИННАДЦАТЫИ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛВЕКА ОКТЯБРЯ

Год 1967 — год юбилейный	3
ИОСИФ НОНЕШВИЛИ. Красная баллада. Перевод с грузинского Вл. Лугового	5
По пути борьбы и побед. Документы. 1917—1921	50

ПРОЗА

РИММА КАНДЕЛАКИ. Большие и маленькие. Повесть	6
НОДАР ЦУЛЕЙСКИРИ. Белая гора. Повесть. Перевод с грузинского А. Абуашвили	37

ПОЭЗИЯ

СИМОН ЧИКОВАНИ. Первое послание любимой. На ложе твоём прикорнули стихи.. Перевод с грузинского Евг. Евтушенко	35
ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Московский сентябрь. Наполненное солнцем и травой.. Зачем я вспомнил в этот миг... Жинвали. Перевод с грузинского Ст. Куняева	36
ФРИДОН ХАЛВАШИ. Улыбки. Хвала дождю. Друг. Переводы с грузинского М. Тарасовой, Вл. Лифшица, Вл. Шленского	48

Я Н В А Р Ь

1 9 6 7



607.209

1

ИСКУССТВО

ЛЕВАН РЧЕУЛИШВИЛИ. Край родной 61

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

✓ **ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Об Осипе Мандельштаме** 75

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Г. БЕБУТОВ. Для общего дела победы. К 100-летию со дня рождения В. Вересаева 66

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. Стихи. Переводы стихов грузинских поэтов — Важа Пшавела, Валерияна Гаприндашвили и Георгия Леонидзе 67

Хроника 96

На 2-й и 3-й стр. обложки — репродукции с картин Д. Какабадзе: «Рионгэс», «Париж. Карусель», «Париж. Мост с деревом» (см. статью на стр 61).

Главный редактор **МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ**

Редакционная коллегия:

И. АБАШИДЗЕ, Б. ГАСС (заместитель главного редактора),
Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ, В. МАЧАВАРИАНИ,
Р. ТВАРАДЗЕ, Э. ФЕЙГИН, Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, Д. ШЕНГЕЛАЯ.

Адрес редакции: Тбилиси, 8. Улица Ленина, 5, телефон 9-06-59.

Год 1967 — год юбилейный

Невидимый рубеж перейден — мы вступили в год 1967. Ровно полвека назад, в 1917 году народы нашей страны шагнули навстречу очистительной буре, которая смела все старое, прогнившее, отжившее свой век. Великий Октябрь вихрем пронесся по необъятным просторам России. Ее простому, трудовому люду, лучшим ее сынам и дочерям дышать стало легче, но жить поначалу трудно — ведь старый мир рухнул, надо было строить свой, новый, на руинах, на пепелищах. Он рождался в муках, в борьбе и труде. Революция победила, но она продолжалась и продолжается поныне. И все самое светлое и лучшее, что создается еще и сейчас в нашей стране, делается во имя тех идей, которые были начертаны на красном полотнище, взметенном сильной и мужественной рабочей рукой в октябрьские дни 17-го года.

Да, мы верны идеям Великого Октября, который навсегда вошел в нашу жизнь. И потому путь в пятьдесят лет, который пролег между тем далеким, опаленным ветрами семнадцатым, и сегодняшним шестьдесят седьмым — отмечен вехами, знаменующими наше неуклонное движение вперед.

Теперь даже трудно поверить, что могучий многонациональный Союз Советских Социалистических Республик, первым в мире начавший завоевание космоса, некогда был бедной, отсталой, темной и убогой страной.

«Пятьдесят лет Советской власти, годы суровых испытаний и великих побед социализма, — говорится в новогоднем поздравлении нашей партии и правительства советскому народу, — показали всему миру незыблемость и созидательную мощь советского строя, несокрушимое единство партии и народа, силу братской дружбы народов нашей страны. Своей героической борьбой за социальное переустройство общества наш народ снискал глубокое уважение всего прогрессивного человечества, приобрел миллионы друзей во всех концах земли».

Мы росли, мужали и крепили вместе с Родиной. Революции 50 лет. Возраст, когда силы, знания, умение умножены опытом, зрелостью мысли. По существу, вся наша советская литература — это великая эпопея, раскрывающая самые разнообразные аспекты и стороны свершения революции, ее победы, триумфального шествия, революционного преобразования нашей страны, нашего народа на протяжении всего славного пятидесятилетия Октябрьской социалистической революции.

Юбилей первого в мире социалистического государства в нынешнем году готовится отметить не только советский народ, но и трудящиеся всех стран. Ведь это будет, как сказано в новогоднем поздравлении, «великий праздник всемирно-исторических побед коммунизма, торжества идей Владимира Ильича Ленина — вдохновителя и вождя

нашей революции, основателя Коммунистической партии и Советского государства».

Вместе со всем советским народом, наша республика стремится ознаменовать 50-летие Великого Октября новыми достижениями во всех областях хозяйственной и культурной жизни. В этом дружном хоре — четко и ясно звучат голоса наших писателей. Они не только славят большой праздник всей нашей страны, но и раскрывают в своих произведениях образ нашего современника, становление и укрепление Советской власти в Грузии.

Под такими постоянными рубриками, как «Полвека Октября», «Летопись дружбы» и другие, «Литературная Грузия» помещает и впредь будет публиковать материалы самого разного характера — документы и воспоминания, очерки и интервью, литературно-критические статьи и литературные портреты, рецензии и аннотации на книги...

Все это многообразие жанров должно служить одной цели — по возможности наиболее полному и всестороннему показу того, как дыхание Октябрьской бури достигло далекой от колыбели социалистической революции Грузии, как логикой исторического развития здесь победила Советская власть, с помощью которой шаг за шагом шло завоевание все новых областей в народном хозяйстве и культуре республики.

Одним словом, мы хотим показать, как веками бедствующая Грузия стала тем, что она есть сегодня. Республикой сплошной грамотности, высоко развитой науки, промышленности и сельского хозяйства. Дважды орденосной Советской Грузией — одной из жемчужин нашей социалистической Отчизны.

Эту картину дополняют стихи, рассказы, повести и романы наших писателей. Ибо, как сказано в постановлении ЦК КПСС от 4 января 1967 года «О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции», — «велик путь нашего народа. Велик его подвиг. Он будет вечным примером для грядущих поколений, для всех, кто избрал дорогу свободы».


И путь, пройденный республикой вместе со всей Советской страной за пять десятилетий, — увлекательная и поучительная повесть о сложном, многотрудном и противоречивом процессе становления нового общества со множеством персонажей и событий, требующих еще своего достойного воплощения.

Наиболее значительные из ее глав будут дописаны в нынешнем — юбилейном году.

Красная баллада

Отрывок из поэмы

К победе спешили мы.
И перед нами,
Германии ночь
рассекая
лучом,
летело и реяло красное знамя,
в семнадцатом
поднятое Ильичем.
Мы шли
по военным дорогам планеты,
и в каждом
из тысяч солдатских сердец
грядущее —
колоколами победы—
восторженно билось уже, наконец!
И вместе,
на редких привалах,
ночами,
москвич и минчанин,
грузин и казах —
припоминали,
как в самом начале
мы с Лениным в сердце
стояли в боях.
...Московские крыши тревожно белели,
когда
среди хлынувшей вдруг синевы
для клятвы
сходились полки
к Мавзолею,
и — с площади
шли на защиту Москвы...
И те,
кто стоял тогда
пред Мавзолеем,
москвич и минчанин,
казах и грузин,
под знаменем,
имя которому —
Ленин, —
наутро
с боями вступали в Берлин!



Большие и маленькие

ПОВЕСТЬ

Памяти Васо

ЗНАКОМЛЮСЬ С МИРОМ

У отца усы. Усы пахнут табаком. У мамы мягкие щеки. От них яблоками веет, душистым ветерком. Отец, когда целует, — колется. А у мамы лицо мягче бархата. Но почему я больше люблю суровую ласку отца? Царапают щеку усы, шершаво трет лоб пиджак, больно вдавливаются в нос черная пуговица... а мне приятно!

— Давай мордашку!

Я смеюсь, морща свой маленький нос, и подставляю отцу щеку.

Мне уже известно: у взрослых — «лица», у соседей «физиономии», а у меня «мордашка». И пусть ее колют усы! Это вроде солнечного луча, попавшего в глаз. Жмуришься, а — тепло!

Терпеть зато не могу мокрые, сочные чмокания разнообразных теток. Их ужас сколько! Приходят в гости и — первым делом начинают ловить меня.

Это даже свинство.

Я, может, не хочу.

Мне, может, некогда.

Мало ли забот у человека! Человек строит из кубиков город, варит зайцу на игрушечной плите обед, пеленает оловянного солдатика в лоскут, воспитывает кошку, пристроился выводить в тетрадке косые палочки...

И вдруг его хватают на руки не спросясь.

Поднимают на воздух. И — чмок.

Какое унижение. Я жалко болтаюсь в воздухе, брыкая ногами в черных чулках. Кричу: «Пус-си» (почему-то не получается «пусти») и с негодованием отпихиваюсь кулаками. Трещит шелк платья, нагло пахнут чужие духи. Ближе вижу желтые кружева воротничка, неискренно улыбающиеся губы, напудренный подбородок — все неприятно, все вгоняет в тоску без исхода. Потому что мама велит быть хорошей девочкой, а у меня никогда не получается.

Хорошая девочка любит, чтобы ее целовали.

Хорошая девочка благодарит за подарок. Изображает ножкой на полу запятую, это называется «приседать». Вообще хорошая делает все как все. А у меня всегда «все дела наыворот» по авторитетному заявлению Василисы.

Про меня говорят: — Дичок! Хе-хе.

Неискренно смеюсь, отпускают на свободу. И я удираю, забыв взять подарок. Да и какой это подарок? Книга в голубом коленкоре с золотым обрезаем, а читать в ней нечего. Одни глупые слова. Или

громкая кукла с льняными кудрями и голубыми глазами без ресниц. Так красива, что тошнит и в руки брать не хочется.

Ведь никто не приносит то, что любишь, о чем мечтаешь, чего ждешь.

Но вот однажды — звонок.

Детям строго запрещено открывать входную дверь. Мне ведь только пять лет, я могу нечаянно впустить воров, грабителей, попрошаек, цыганку с мешком, старьевщика (я его называю «старивещик») и даже — шпика.

Кто такой шпики, не знаю. Но мама боится шпииков, и даже папа, такой сильный, большой, усатый, — даже он их остерегается.

Значит, мне запрещено открывать.

Но вот звонок, а никого в квартире нет! И я — бегом в прихожую, где темно, пусто и пахнет калошами.

Становлюсь на цыпочки. Откидываю цепочку, снимаю железный крюк, с натугой поворачиваю направо ключ. Ужас, сколько у людей заповорю! Однако справляюсь.

Открылась дверь. Дует с лестницы зимним холодом. Подпрыгиваю быстро, пружинкой, чтобы не простыть.

На площадке — человек в синей шинели, без шапки. Лицо землистого цвета обросло редкой бородой. Горящие впалые глаза обведены коричневой тенью.

Мне совсем не страшно, хотя взрослая мама, наверно, испугалась бы: привидение в синей шинели! Скелет с бородой!

Меня неодолимо притягивают эти горящие глаза — столько в них света, идущего изнутри.

И я делаю — ради Неизвестного — то, чему меня никак не могут выучить взрослые, сколько ни бьются: быструю «запаятую» ногой. В холоде и пустоте лестничной площадки я учтиво, низко приседаю.

Неизвестный тихо, глупо смеется. И говорит непонятные слова: — Патара гогона! Потом спрашивает моего отца и, услыша: «никого нет дома», вздыхает.

Достает из-под мышки маленькую, с горбатой крышкой коробочку соломенного цвета. С ярко-зеленой петелькой и тонким, как спичка, засовом. Совсем как у бабушкиного дорожного сундука. Только этот сундучок — соломенный.

— Передай, гогона, мое изделие папаше. Сам делал. Скажи: выпустили меня на поруки. Еду домой.

И костлявой, очень горячей рукой гладит мои волосы. Потом отступает на шаг, не сводя с меня горящих глаз и, нащупывая рукой перила, светло улыбается:

— Так не забудешь, дочка? Спасибо защитнику передай. На поруки выпустили. Так скажи.

Ушел.

Сколько новых слов зараз обрушилось на мою голову! Что за слово «гогона»? Что такое «поруки»? Надо все это осмыслить. И как можно скорее. Пустилась бежать в комнаты, прижимая соломенный сундучок к груди. Сразу полюбила сундучок. Вот так игрушка. Ни у кого такой нет. Плотно набиваю его заветными сокровищами: перламутровыми пуговицами, сломанными мамиными брошками, перочинными ножичками, мастикой для лепки, клубками шерсти... И вдруг — шаги отца.

Бросаюсь к нему: — Смотри только! Да смотри же... — впервые отворачиваюсь от его усюв. — Вот это подарок! И ты подумай: выпустили

¹ Маленькая девочка (прюз.).

человека на какие-то поруки! Что такое «поруки», а, пап? Едет на родину...

...Кто едет? Кого на поруки?

Отец строго глядит мне в глаза:

— Кто тебе разрешил открывать дверь неизвестному!

Он опускается в кресло. У него грозный взгляд. Светлый, ястребиный. И морщина между бровей. Прямая, как штык. Дышит тяжело, крутит ус.

Мне сразу не по себе. Я что-то натворила.

Сейчас меня запрут в чулан. Страшное наказание! В чулане — мрак, одиночество, мышами пахнет. Время в чулане тянется, тянется...

Чтоб из заключения выпустили, надо горько и усердно рыдать. Эдак — с икотой: «Я больше не бу... я не бу... ду-ду-ду».

Другой раз и не хочется, а воешь.

Воешь заунывно и без всякого смысла. Вот и сейчас.

Начинаю поспешно подвывать, чтобы не терять времени даром.

— Я не бу... ду-ду-ду...

Вдруг вижу: отец не сердится вовсе! Хотя морщина врезана, прямая, как штык. Хотя светел и грозен взгляд, как у дикой птицы. Хотя смуглая красивая рука нервно крутит ус. Нет, не сердится, просто расстроен. Жалеет кого-то. Мыслями несется за тем, за ушедшим...

— Па! Кто это был?

Отец пристально рассматривает сундучок. Соломка «изделия» отлиывает золотом.

— Кто был, а?

— Заключенный.

Ой, сколько непонятных слов, надо успеть все спросить. Ведь скоро — обед, а за обедом ребятам полагается молчать, разговаривают одни взрослые.

Строго у нас в семье. Строго было тогда в домах.

— Что такое «заключенный», что такое «на поруки», почему он велел сказать тебе «спасибо»? Ты ему что-нибудь сделал хорошее?

Отец хмуро вертит сундучок.

— Мало. Мало я смог сделать ему хорошего.

И вдруг вытряхивает сердито мои сокровища из сундучка прямо на пол.

— Зачем ты набила сюда всякой дряни? Подбери весь этот мусор и отнеси в свой уголок. Мало, что ли, у нас в доме пустых коробок? Имей в виду: этот сундучок я никогда тебе не отдам. Его делал за тюремной решеткой человек, которого я **защищал**. Такой подарок — дорого стоит.

И ушел, ступая тяжело, к себе. За рабочий стол.

Да. Отец-то ведь у меня особенный! Он — защитник. Защищает людей! Васена мне разъяснила. Их «сажают» куда-то вроде клетки, а отец что-то такое на суде говорит, говорит, говорит. Глянь, и—выпустили человека.

Только при этом зачем-то «дают». — Сколько ему дали? — Много! — отвечает отец. — Полный срок.

Двадцать пять.

Или: десять.

Или (это — редко!):

— На поруки...

Вот что за «поруки» — даже не разрешается спросить, а Васена тоже толком не знает.

Медленно подгребаю ногой в кучу обесцененные пуговицы, ножницы, мотки. И размышляю, вытирая нос рукавом, о настоящей стоимости подарка.

ТЕЛЕФОН

Какой восторг. Нам «провели телефон». Кто его «провел», я не видела: гуляла во дворе, лепила из снега бабу, пропустила самое интересное! Со мной частенько так бывало в жизни. И то острое, разрывающее сердце чувство отчаяния, сожаления от какого-нибудь упущенного необыкновенного и неповторимого зрелища осталось навсегда.

Пропустить монтера! Надо же! Зато от монтера-волшебника осталось в доме, кроме мокрых следов на полу, нечто интересное: длинный ящик, привинченный к стене, нарядный витой красно-черный шнур и обольстительно пахнущая таинственная трубка.

Снимешь с рычага трубочку, а оттуда тебе кукольный деревянный голосок: — Два ноль два?

Этак с вопросом. Что, мол, тебе, девочка, надо?

Отвечаешь вежливо, воспитанным голосом: — Дайте, пожалуйста, семьдесят четыре двадцать три... — А в ответ нараспев:

— Па-зв-а-ни-ла.

Скорее бросаешь трубку на рычаг, чтоб не влипнуть в неприятность, потому что *никаких «собственных знакомых» в шесть лет у человека не бывает и лучше удирать поскорее, пока не заработала щелчок от вечно бдительных взрослых.*

Вот и вся процедура. Но — масса удовольствия!

Вечно верчусь в прихожей у телефона. Вдруг кто-нибудь позвонит? Действительно, звонят.

Музыкально так, волшебным звуком: дззз-инь! Озираясь по сторонам, снимаю трубку и, стоя на цыпочках (все мне высоко, ни до чего не достать), замирающе спрашиваю:

— Кто говорит?

А потом бегу за отцом, за матерью, за тетей Дашей. И возвращаюсь к своим игрушкам, пританцовывая: вот и поговорила! Экая прелесть телефон.

Но однажды трубка басом недовольно спросила:—Нет ли там кого-нибудь постарше?

И я начала вдруг разговаривать, как мама, жеманно и нараспев, внутренне ужасаясь собственной наглости:

— Отчего же. Можно и постарше. Вам кого позвать?

— Да кого-нибудь поумнее тебя, — пролаяла трубка.

— У нас все умные, — сообщила я.

В трубке — нечто вроде рычания:—р...р... гав-гав.

— Эх, вижу я, за тобой родители плохо смотрят. Ну-ка, подавай сюда кого-нибудь из них, живо!

Я выдохнула без запинки и с достоинством:

— Кого же? Мама волосы стирает, а папы дома нет, он спит. Велел всем говорить — в суд ушел. И сам ка-ак захрапел.

Трубка ядовито хихикнула:

— В суд ушел, а сам храпит? Скажи папаше, я его когда-нибудь поймаю с поличным.

— Поймите! — обрадовалась я. — Непременно поймите! С поличным — это что, игра такая?

Но интересный разговор грубо оборвался.
Чья-то рука вдруг рванула у меня трубку. До сих пор помню, как крепко меня тогда наказали. Мне даже запретили вообще выходить. В прихожую. За что, о боже, за что? Я же говорила — хотя и по телефону — одну только правду.

НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Среди всех удивительных и непонятных для меня в те годы вещей была одна, существование которой я и сейчас, пожалуй, не поняла бы, если бы она не исчезла навсегда, навеки из нашей жизни. Это — комната под названием: **гостиная**.

Не странно ли.

Комната — ни для кого и ни для чего.

В ней не спят, не едят, не качают детей, писем не пишут и уроков не делают. Нерабочая комната. Просто так, комната для чужих. Светлая! Большая! Лучшая в квартире.

Трудно воспринимается такое понятие: зряшная комната.

Много ли бывало у моих родителей гостей? Не особенно. В «гостиной» наши гости обычно и не сидели. Сразу проходили в жилые комнаты. Их звали к столу. Сердечно или чопорно приглашали: «Откушать».

Если же к нам заходили «клиенты», тем прямо говорилось:

— Пройдите в кабинет.

И «клиенты» — торопливые люди, со свертками бумаг, с портфелями или папками под мышкой, скрипели калошами, раздевались у вешалки и быстро топали в кабинет.

В кабинете тесно от шкафов с толстыми стеклами, за которыми загадочно поблескивают корешки томов: «Свод законов». «Уголовное право». «Уложение о наказаниях». Гремели стулья, отец приступал к делу: — Так вот, разберемся...

Размышляя, как все ребята, о значении слов, я напрасно стремлюсь догадаться: почему «Уложение о наказаниях», что за «уложение»? Сперва кого-то уложат, потом накажут? Бррр... Даже мороз по коже... Никогда не хожу в кабинет.

Там — «Уложение».

А вот в гостиную мы с сестрой проскальзывали. Играл в медвежат, кувыркались на ковре, заползали под круглый стол. На нем покоятся плюшевые альбомы, где вставлены картончики очень скучных карточек. Оттуда, с карточек, глядят глазами мертвых судаков пожилые люди в стоячих воротничках и женщины с необъяснимо тонкими, в рюмочку, талиями.

Чужим (гостям) мама и тетя Даша разъясняли: — Моя бабушка. Наш дедушка. А это — свекор. Из грузинского села Хони родом. Глядите, какой богатырь!

Гости притворялись, будто им интересно, а сами, поглядывая в сторону столовой, раздували ноздри, чую запах пирогов. Но кивали, улыбались. Долго и терпеливо играли взрослые в эту необъяснимо глупую игру. Нет, вы подумайте! Только для того и существовала «гостиная»!

Но я любила бывать в ней одна. Разглядывать гравюры, картины, портреты.

Картины, как я подметила, решительно у всех тогда были одинаковые. Копии «Утра в сосновом бору» (я прозвала ее «Шишкин-Миш-

кин») или «Боярышен» Маковского (все та же ненавистная мне подарочная кукла с кудрями).

Копии лоснились лисировкой. Позже отец их возненавидел и выбросил. Но это случилось много лет спустя, когда подружился он с высоким человеком с яйцевидной головой и густыми суровыми бровями — Ильей Семеновичем Остроуховым. Илья Семенович, по словам отца, «развил у него вкус». И — отвращенье к копиям.

...Зато портреты были необычайны. Таких ни у кого не было. Настоящие. За это я их любила.

Суровое, будто топором вырубленное, мужеподобное лицо пожилой женщины в чепце. Голова лежит на многоэтажном слоеном воротнике как на блюде.

— Мама, кто это?

— Твоя пра-пра-прабабушка.

Бедняга, наверно, никогда за всю жизнь не повернула шею в таком хомуте!

— А это?

Человек с птичьим клювом. Надменно каменное лицо. Через всю грудь — выцветшая лента. Что-то поблескивает. Орден.

— Кто это, мам?

— Твой пра-пра-прадедушка.

До чего занятно. Сколько раз можно так вот нанизывать смешное слово «пра».

— Какой у него орден?

— Шведский.

— Почему шведский?

— Мои предки были шведы! — не без гордости сообщает мать.

И вскидывает голову. А головка-то русская: вздернутый нос башмачком, глаза с прищуром и со смешинкой, яблочные щеки, подбородок с ямочкой... Ну, как это понимать? Кто же я тогда?

— Ты русская, — объясняет мама, — мы давно обрусели. Сто с лишним лет назад.

Отец появляется в дверях. Суровый взгляд, морщина на лбу.

— Ты грузинка! — веско роняет он. — Запомни. Ты — моя дочь, а я грузин.

Мать еще выше вздергивает голову. Это — при маленьком росте — у нее смешно.

— Но мне кажется, она немного и моя дочь? Насколько мне помнится, я ее родила... Значит, русская.

— Грузинка.

— Русская!!!

— Грузинка.

— Русская!!!

Сколько металла в голосе у обоих, сейчас поссорятся. Мои родители часто ссорятся. Тогда прибегает тетя Даша и выводит меня из дому. «Подышать воздухом». «Поиграть с кем-нибудь во дворе».

Но сейчас молодой тетушки нет — уехала погостить к подруге, и голоса родителей беспрепятственно раскатываются по квартире, Взгляд отца мечет холодные молнии, мамаша закидывает голову как норовистая лошадь. Мне страшно. «Вот сейчас полетит на пол тарелочка! Или ваза! — грустно размышляю я, пятясь к дверям, — сколько уж добра так побито... лучше бы мне подарили, чем зря швыряться».

Но тут приходит на ум спасительная мысль: чтобы взрослые не злились, надо их насмешить.

— А я знаю, кто я! — пританцовываю вокруг них, натянуто смеясь. — А я знаю. Вот и знаю, кто я! Сказать? Сказать?

Гнев отца остывает медленно, как расплавленное олово. საქართველოს
საბავშვო

— Ну, скажи, глупыш.

— Я — джори.

«Джори» — это слово услышано от бабушки. От кутаисской бабки, которая приезжает каждую осень с необыкновенными корзинками, наполненными отборным янтарным виноградом.

Приезжает с запасом различных грузинских побасок, со сказками, шуточками и словечками — и я незаметно их заучиваю, любя ее. «Джори» — означает помесь осла с лошастью. Мул.

— Что-о-о-о?

— Ах, ха-ха-ха. Джори! Моя дочка — джори. Здорово! Н-да, устами младенцев...

Слава богу, они смеются! Я удираю на кухню и там перевожу дух. Гроза проходит стороной. Можно не бояться за целостность стеклянных вещей но...

Но все же: кто я?

Надо разобраться.

Очень часто, очень глубоко тревожит маленьких людей вопрос: кто я.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Во-первых, зачем я девочка? Несправедливо.

Мне всегда хотелось быть мальчиком, и я еще с четырех примерно лет горячо убеждала маму «переделать меня на мальчика»: остричь косички, надеть мне штаны.

— Ведь удобно же! У мальчиков штанишки спереди застегиваются. На пуговицы. Мальчики сами одеваются... Тебе легче было бы... И не надо заплетать каждый день мои косы! — огорченно твердишь ей. А она — не понимает.

Мне хотелось ездить верхом, стрелять, петь лихие песни с присвистыванием, как то делают солдаты, проходя по улице. Плясать лезгинку. Говорить речи. И «защищать людей на суде». Для всего этого надо быть мужчиной: женщинам — запрещено быть адвокатами. Инженерами — тоже нельзя. И строителями нельзя. И генералами. И авиаторами...

Почему? Почему?

Может, потому, что у мальчиков «все лучше получается»?

А что у них действительно многое лучше получается, я убедилась с самых ранних лет.

Вот кухня: в ней командует мой друг Василиса. С утра до вечера она у горячей плиты. Ей жарко, она устает, пот крупными каплями каптится по ее лицу, она даже подмаргивает мне иногда:

— Доченька, оботри! — И я, став на скамейку, обтираю ее лицо холщовым лоскутком, отчаянно жалея Василису за такую каторжную работу.

А что получается? Подают обед на стол, и... Одна воркотня. Мама брзжит, тетя Даша ворчит, папа недоволен. Слышно: — Суп пересолен. Хотлеты, как подошва. Пирог «перешел». Куличичи «сели».

— Ох, бездарная наша Васена. Ох, никудышная!

Басена в кухне горько рыдает.

Я бегу к ней, становлюсь на скамейку, вытираю Васенины слезы холщовым утиральником. И бормочу заученные от нее же слова:

--- Не жисть, а жестянка.

— Истинно, истинно! — рыдает Васена и железной гребенкой отбрасывает волосы, упавшие на глаза. — Дите малсе и то понимает.. А она? Нешто так можно? Ты научи, ты скажи, как лучше. Уж ежели кто настоящая хозяйка, так умеет научить. Спроси-ка, доченька, вы скажи, мамаша, образованные, для чего же тогда ваше образование, коли обучить другого не можете?

Несколько сконфуженная мамаша появляется в кухне. В руках у нее библия домашнего хозяйства: поваренная книга Елены Молоховец. Как бы не замечая красных опухших век кухарки, она открывает заложенную вышитой закладкой страницу и громко читает рецепт:

«...Кулич третьим манером. Взять пять унций дрожжей посвежее...»

— Господи, «унций», — рыдает Василиса, — чего это? Сроду их не видала. Не про нас писано.

Но вот в кухню является отец. Без пиджака, с засученными рукавами белоснежной рубашки, особенно оттеняющей смуглость кожи, с залихватским выражением лица, которое мне необычайно нравится, он приказывает:

— Пустите меня к плите. Эх, вы, горе-хозяйки...

Женщины робко ступешевываются. Отец начинает колдовать, и я знаю, что последует за его долгим, продуманным колдовством: куличи «не садятся», а быстро поднимаются. Борщ получается истинно «флотским», остро-пахучим и темно-алым. У пирога не отстает корочка. Котлеты — пышны и стреляют во все стороны соком, едва тронешь их вилкой. А какие чудесные печенья получаются из обыкновенной овсянки «Геркулес»!

И что можно сотворить из ржаного хлеба, если начинить его яблоками! Тысяча и одно кухонное чудо...

Отец все может.

Я хочу быть похожей на отца.

Хочу быть мальчиком.

Как это родятся тем или другим: по желанию? Или случайно? Допытывалась у матери. Та отговаривается: «подрости — узнаешь». В аиста и капусту я никогда не верила. При чем здесь аист, если Васена ходит с пупом и клянет за это не аиста, а мужа: —Иуда, изувер, идол рыжий, наградил дитем — сам смылся...

Размышляю подолгу. Преимущественно вечерами, когда раздеваюсь ко сну. Сестра Татуся давно уже спит, разметав на подушке шелковистые кудри и сжав руки в кулачки. Счастливая она, никогда ни над чем не задумывается! Только знай себе просит: «Мама, дай! Папа, дай». Целый день звенит этот колокольчик: дай-дай-дай.

Гулять с сестрицей опасно. Только и слышишь: купи, купи, купи.

Доверить ей тайны еще опаснее. Разболтает старшим тотчас же, не позже обеда.

Тронуть ее совсем опасно! Бежит, жалуется папе. Именно ему! Именно на меня! Почему такая несправедливость? Мне крепко попадает. Мне говорят: — Помни, старшие должны уступать младшим.

Но мама еще более старшая, однако ни в чем и никогда мне не уступает.

Итак (я снимаю чулок с ноги и долго рассматриваю свою босую, незащитную ногу, шевеля пальцами, похожими на грибы опенки). итак — моя жизнь явно **не удалась!** Вздыхая, складываю на детском табурете свои одежды — так, как учат старшие, и забывшись в тяжелых думах, стою в одном чулке, в одном башмаке.

Не задалась «жисть»: не мальчик, а девочка. Не младшая, а старшая. И странная какая-то при этом! Ни ямочек, как у мамы, ни шелко-

вых кудрей, как у Татуси, ни хотя бы папиного ястребиного взгляда. Никакой красоты в себе не нахожу. «Цыганочка», — дразнят меня во дворе.

Вздыхнув, подражая Васене, я тихо напеваю подслушанную песню: — Хороша я, хороша, да плохо одета. Никто замуж не берет, собственно, за это...

Васена заглядывает к комнатку.

— Татуся спит, а ты песни играешь? Нашла время... бесстыдница, об одном башмаке гуляет. Да ты што, не знаешь, какая это дурная примета? Мать помрет, сиротой останешься.

Я поспешно стаскиваю с ноги второй башмак, чтобы не накликать беды. И укладываюсь калачиком под голубое стеганое одеяло. Так теплее, так удобнее размышлять.

А ведь совсем не верно, будто меня «никто замуж не берет».

Брали меня однажды замуж, и всему виной был оренбургский белый пуховый платок.

ЛЮБОВЬ

Мне было пять лет, когда в доме появилось новое и очень важное лицо. Поначалу ее звали: акушерка.

Потом оказалось, что она просто Любовь Ивановна. Седая, добрая, в опрятном черном шерстяном платье с большими нарукавниками. Всегда шутит, всегда курит и, оказывается, хочет со мной дружить.

Отчего же нет? Если без поцелуев, пожалуйста.

Любовь Ивановна не такая, чтоб целоваться. Она курит сигарки, заклеивает их языком и деловито рассуждает: — Ну, решай, кого тебе принести, братца или сестрицу? Давай придумывай, время не терпит.

В это время из маминой спальни доносится долгий-долгий стон. И меня быстро выдворяют «подышать свежим воздухом». Во дворе, где густеют сумерки, мне встречается чужой мальчик. Он немного старше меня. Почему-то вечером гуляет здесь один.

Он не по-нашему красив: синий кафтанчик, опоясанный красным кушаком, белые бурковые сапожки — все особенное. Шапка мерлушковая лихо заломлена набекрень и серебрится, словно иней в новогоднюю ночь.

Мальчик из сказки! Иван-царевич.

Он робко глядит на меня, я еще более робко — на него.

— Моя бабушка у вас? — нерешительно спрашивает Иван-царевич. — Она акушерка. Принимает.

Не знаю, что собственно принимают акушерки? Может, лекарство принимают? На всякий случай пытаюсь загадочному незнакомцу объяснить:

— Любовь Ивановна у нас. Обещала мне братца. Сидит рядом с мамой. Моя мама как раз больна. Они обе чего-нибудь «принимают».

Иван-царевич понимающе кивает. И похлопывает игрушечной лопаткой по бурковому сапожку.

— Тебя Инной звать? Ты пойдешь к нам ночевать, Инна. А на твоём месте бабка моя заночует. Ей нельзя от вас отлучаться.

...Непонятно. Губы у меня начинают дрожать. Как! Эта пропахшая табаком высокая седая женщина влезет в мою маленькую кроватку, которая даже мне коротка? Я-то хотела с ней дружить, а она, стало быть, вроде змей?

Готова разреваться, но — рывком отворяется калитка. Мой отец, очень бледный, в пальто, накинутом на плечи, стоит в воротах и таин-

ственно манит меня пальцем. Шепчет на ухо, что скоро-скоро у меня родится братец, а пока я должна одну ночь спать не дома, а у доброй Любови Ивановны.

— Тогда аист скорее принесет братишку...

Бедный папа, он еще чего-то хочет сочинять. Из вежливости соглашаюсь: — Хорошо, буду умницей!

Васена выбегает на оснеженный двор, прикрывшись темным полушалком. В обнаженных по локоть красных руках она держит — о, сказка! — мамин оренбургский платок. Укутывает им меня всю, крест-накрест перевязывает и поправляет на моем лбу прядь волос. Тоже советует «быть умницей». И даже «молиться богу». Он, оказывается, поможет родить братца. Час от часу не легче! Оказывается, боженька помогает рожаться. Мысли мои путаются. Впрочем, мне уже не до братца.

Меня обволакивает — мечта. Как мягко, пушисто и легко оренбургский новый платок! Он нежен, как первый снег, он греет, словно костер, он — волшебство!

Мамнины подруги недаром ахали, восхищаясь «находкой» отца.

Мама горделиво снимала с руки обручальное кольцо, и оренбургский платок проходил целиком сквозь маленькое золотое колечко.

Потом подруги разбегались по комнате, держась за концы платка, и оказывалось, оренбургский платок занимает всю комнату. Шире ковра!

Притом платок сплетен, как кружево, искусным узором, и прищулив один глаз, можно сквозь него видеть насквозь.

Так вот, это чудо на короткий миг стало моим.

Иван-царевич, в просторечии — Ваня, робко смотрит на меня, полуоткрыв рот. И я замечаю, что передние зубы мальчика слегка торчат из пухлого влажного рта, что придает ему наивный и удивленный вид.

Вдруг он говорит:

— Ты хорошенькая. Какие длинные у тебя брови. Вот снежинка села на твой волоса (он пресерьезно дует мне в лоб). Вот я прогнал снежинку. Вот другая... прогнать?

И пользуюсь тем, что Василиса взволнованно резво бежит далеко впереди, показывая двум детям дорогу, искрящуюся гребнями сугробов, и слышать нас, следовательно, не может, Ваня твердо заявляет:

— Вырасту, женюсь на тебе.

Это тоже волшебство. Я тихо дышу в оренбургский платок. Сквозь пуховое кружево — белый пар клубочком.

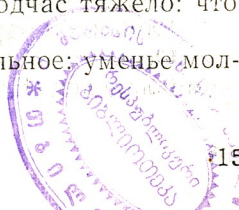
— Приеду на тройке. Посажу тебя рядом да ка-ак крикну: — Эй вы, залетные! И-и-и-х! Только нас с тобой и видели.

И он свистит по-ямщицки, лихо и длительно. Свистит так, как я никогда не смогу.

Два дня я живу в низеньком домике Любови Ивановны на Сивцевом-Вражке, сплю на ее широкой кровати около жарко натопленной голландской печи, ем блины в сметане, приготовленные сестрой акушерки болтливо-хотливой Анной Ивановной. И все время ощущаю на себе пристальный взгляд паренька с наивно приоткрытым ртом. Чувствую тяжесть чужой любви.

Приятно, заманчиво, немного неудобно и даже подчас тяжело: что ответишь?

Молчу, не подозревая, что это и есть самое правильное: умнее молчать.



Кутаюсь в оренбургский платок, не расстаюсь с ним все дни. Он же мамин!

— Милочка моя... Как эта крошка любит мать! — умиляется Анна Ивановна. Откуда ей, женщине с таким широким потным лицом и трубным сморканьем в клетчатый передник, понять мою маленькую хитрость? Мне пять лет, но я кое о чем знаю больше, чем она в свои сорок.

— Вот я нашел тебя в книжке, — заявляет Ваня, задумчиво листая большой альбом. Мы сидим близко у открытой печи на вытертом ковре, когда-то зеленом. Огненные блики играют на наших склоненных головах. — Гляди! Совсем ты. Твои брови. Только тут ты взрослая.

— А зачем у ней перышки? — недоумеваю я, по складам разобрав только одно странное слово: Вру-бель (похоже на «рубль»). — И куда она в такой холод плывет? Одна, ночью. Среди льдин...

Мне не по себе. Призывно, в тоске глядят на нас с картинки огромные глаза из-под венца в сверкающих камнях... Куда это существо уплывает? Оглянувшись воровато, Ваня быстро-быстро целует меня в щеку и громко — для ушей тетки Анны, лепящей пельмени в соседней комнате, объясняет:

— Это же сказка! Так на самом деле не бывает. Нарисована полу-женщина, полуптица. Ее расколдовать надо. Мне бабка объясняла... да вот забыл.

Он опять тянется меня клюнуть. Но я встаю, укутанная в трижды сложенный, а все же длиной до самых пят оренбургский волшебный платок, и ухожу от него.

Главное этак, тихо ухожу и скрываюсь за дверями.

Почему? Не знаю.

Мне всего пять лет, но уже бессознательно, бездумно я понимаю самое хорошее — вовремя уйти.

А он смотрит вслед, довольно жалкий в своем хорошеньком кафтанчике, в вышитой рубашке и с полуоткрытым влажным ртом, откуда выдаются два белых зубика. Как у грызуна.

Как у лесной белки.

Ему бы свистнуть мне сейчас вслед. Лихо, по-ямщицки, как тогда в переулке ночью. Невольно обернулась бы!

Вместо того Иван-царевич подтирает нос обшлагом рукава и добродушно говорит вдогонку:

— Ладно, катись, шут с тобой.

Сказка кончается быстро. Меня приводят домой. Там я снова превращаюсь в некрасивого утенка—у меня отбирают оренбургский платок, да еще немного всыпают... потому что я, увидев в новенькой колыбели сморщенное лысое печеное яблоко,—Татусю,—вместо кудрявого брата, которого так жду, с негодованием топаю ногой:

— Вас надула гадкая старушонка! Обещала брата, принесла сестрицу. Сейчас же **обменяйте**, а то не буду любить!

СИВЦЕВ-ВРАЖЕК

Бульжная мостовая с ухабами. Деревянные заборы. Каждую весну через них переливается белая пена цветущей сирени. Иногда — голубая пена.

Сирень молода. Все остальное старо.

Глубоко в заросших травой двориках запрятаны особняки.

Особняк — это не то, что дом. Это — **владение**. Есть такое слово: домовладелец. На фонарях, на дощечках у ворот пишут: «Домовладельци»

ца — княгиня Туркестанская». «Домовладелец — потомственный почетный...», еще что-то. Длинные слова, разве их упомнишь. Зато очень запомнилась княгиня Туркестанская.

В вуалетке с мушками и шляпке с бисером.

На цепочке водит глухого мопса.

На меня глядит сквозь миндалевидные стеклянные глаза — «лорнет». Ей, наверно, лет сто.

— Жрать самой, небось, нечего, а собачонку на серебряной цепочке водит, — злобно бормочет Василиса и норовит свернуть с дороги. Для нее встретить княгиню — хуже примета, чем встретиться с попом.

По каким-то признакам догадываюсь, что моя мама — оттуда... из особнячьего мира. Ей иногда шлют улыбку, приветствие эти чужие люди в чиновничьих кокардах и в офицерских шинелях, дамы в вуалетках, страшные старухи в допотопных шубах и их увядшие, как осенние листья, дочки.

Это — все — «мамины».

Папа их не любит. И они его — тоже. Впрочем...

Быстро и резко оборвалась нить, связывающая нашу семью с мирком, похожим на стеклянный домик-аквариум, где неспешно плавают рыбы с вуалевыми хвостами и копошатся крабы в песке.

Меня пригласили однажды в особняк. Этому предшествовала одна таинственная история. О ней — после.

Дома сперва долго приглаживали мне волосы, переплетали косы, ренетировали приседания, напоминали, чтоб сидела прямо за столом, не чавкала, не макала мякиш в соус и не совалась в разговор старших. Потом отвели «в чужие гости».

Вдогонку мама крикнула, перевесившись через перила:

— Не болтай лишнего! Отвечай только на вопросы.

Ладно, ну их! Буду только отвечать на вопросы.

И вот я — в аквариуме: столовая с окнами, заостренными вверх, а снизу застекленными цветными стеклышками. Среди рыб с холодными глазами и ковыляющих крабов в генеральских погонах. Впрочем, краб-то всего один: он веселый и хромой. Ходит с костылем, стучит, кричит и, выпучив черные пуговики глаз, пытается острить: — Ого, какую египтяночку нам привели! Откуда только мама достала такую? Ну, садись, египтяночка, за стол... силуэупле! Сейчас нам подадут обед, а на десерт... ой-ой-ой! будет такое, что ты никогда не видала и не едала.

После бледной ухи с расстегаем (папины расстегаи куда лучше!) и лиловой жесткой телятины загадочно ухмыляющийся денщик приносит на вытянутых руках огромное блюдо. На нем — нечто вроде человеческой головы с тонкими длинными прядями розового цвета.

Это называется «Волосы Вероники».

Эффект колоссальный.

Я забываю все домашние наставления. Кладу палец в рот и тарашу глаза. Меня просто сразило это чудо.

— Шарман, шарман! — лепечут «рыбы». А самая маленькая «рыбка» (внучка генерала, огненно-рыжая девчонка в полосатом платье), забыв этикет, толкает меня локтем и, прикрывшись салфеткой, показывает язык. Крапчатая и бородавчатая гувернантка, колыхающаяся как желе, в форме атласного платья, укоризненно ей мигает.

Ладно! Я тебе покажу, рыжая, постой.

— Волосы Вероники! — гремит генерал. — Mais какво? Прошу оценить. Внутри суфле со взбитыми сливками. Снаружи сахарные пряди! Попробуйте угадать, медам, как оно сделано? Видите — волосы...

Медам ничего угадать не могут, а я растерянно молчу. Был бы здесь мой отец, он бы разгадал фокус. Жую «волосы Вероники», вовсе не вкусные, зато розовые.

После кофе генерал закуривает, постучав сигаретой о крышку старомодного серебряного портсигара «Память Маньчжурии». Благодушно тараша краби глазки, он отеческим тоном обращается ко мне:

— Ну-ка, девчурка, расскажи — что у вас было нового?

Я незамедлительно откликаюсь:

— Обыск.

Внезапная мертвая тишина. Слышно лишь, как стенные часы с боем отсчитывают «без четверти четыре».

Денщик застыл, забыв унести остаток «Волос Вероники» на лед. Вуалевые рыбы превратились в огромные вопросительные знаки. Их рты полуоткрыты, они онемели — как и подобает рыбам. А на генерала страшно смотреть.

Медленно наливаясь вишневой кровью, он выкатывает страшные глаза, приподымается и сиплым шепотом бессмысленно переспрашивает:

— Э...Ка...к...? Ко...го?

— Никого,—с готовностью откликаюсь я, — все перерыли, а никого не тронули. Одни книжки забрали. Папа говорит: это еще слава богу!

Даже жалко смотреть на генерала, так он вспотел.

— Книжки худенькие-прехуденькие,—успокаиваю я бедного краба,—без картинок, совсем дешевенькие... Называются брюшк... брошк... **брошкурки!** Это не наши брошкурки, а дяди Васо товарищей... потому моего папу и не «взяли», а пошли «за теми».

Фыркнув, я пытаюсь внести оживление в терроризированный аквариум. Забыв о домашних наставлениях, изо всех сил болтаю ногами и языком. Про толстого околоточного с усами, которому мама не хотела позволить рыться в детских кроватках, а усач ей так грозно: — Сударыня, я **вынужду**... А папа —ему... а он — папе...

Радостно смеюсь в полной тишине.

И вдруг они встают все и уходят.

Один за другим. Молча.

Впереди ковыляет хромой краб, высоко вздернув плечи в погонах. За ним уплывают бледноглазые рыбы. Вильнув огненным хвостиком, выскакивает рыжая девочка. И тяжело шлепает за нею жаба-гувернантка.

В столовой остаются: часы, денщик и я.

Тик-так. Тик-так! — говорят часы.

Денщик укоризненно качает головой. Тоже вроде маятника:

— Не то! Не так. Не то! Не так.

— Отведу-ка я вас, барышня, домой. Болтаете чего не знаете. Понимать пора: слово — серебро, молчание — золото.

Бережно, как больную, застегивает меня на все крючки и пуговицы, ловко затягивает ленты капора и, забрав мою руку жесткой ладонью, выводит на бульвар. Там солнечно, шумно и, бойко позванивая, бегают новенькие трамваи. Вздыхая, ворча, денщик доводит меня до самого дому, где живет много народу и однако никто никого не боится.

Дома я даю маме краткий отчет.

Перебирая слова («они папу считают теперь за **благоненадежно-го**»), я хвастаюсь — как здорово утерла нос рыжей девчонке.

Мама сначала вскрикивает, потом отсчитывает пятнадцать валерьяновых капель в рюмку, затем чуточку раздумывает и—внезапно с силой бросает рюмку об пол... дзинь!



Острый запах валерьянки. Прыжок кошки.

— Ну их всех к черту!—решает мама. — Они не стоят, все вместе взятые, даже ногтя твоего отца.

В первый раз в жизни я горжусь своей матерью. Правильное решение! Они не стоят ни моего папы, ни его братьев.

Мы больше не принимаем у себя Сивцев-Вражек, а Сивцев-Вражек не принимает нас.

ДВА БРАТА ОТЦА

Я их никогда вдвоем не видела. Появились они в Москве врозь и в разные годы. Совсем друг на друга не похоже.

Один —коренаст, широк в плечах и некрасив лицом. Особенно поражали впалые щеки, резкие углубления вокруг рта. Вскарабкавшись на колени дядюшки, я обводила его морщины пальцем. — Дядя Васо, разве ты —старик?

Он смеялся, встряхивая буйными кудрями:

— Очень может быть.

Я знала, что это не так. Старик не может быть студентом. Почему-то дядя Васо уж очень долго учится. Мама его называет «вечный студент».

Мне представлялось: вырасту большая, сама стану мамой, поседею, как бабушка, а дядя Васо все будет ходить в фуражке с голубым околышем и петь приятным баском: «Мравалжамьер», «Шумны, как волны, дни нашей жизни». И еще «Через тумбу-тумбу раз» и прочее такое студенческое.

...Дядя Ника — совсем иной.

Он возникал внезапно, как виденье. И так же исчезал, отступая таинственно в тень. Родители мои ничего не знали о нем: где Ника, чем занят, когда придет.

Человек-загадка.

Помню первую встречу: мы все сидим за обедом, вдруг — дядя Ника в дверях. Всеобщее: —О-о-о!

А он стоит, молчит, улыбается. Юный гигант.

Где-то вверху атлетической фигуры — маленькая скульптурная голова. Безупречно правильные черты, красивого рисунка рот. Щеки — атласные. Ведь дяде Нике всего 18 лет, это просто-напросто огромный мальчик.

Строгость его лица смягчает глубокий, чуть печальный взгляд. Сам — молчалив. Разговаривают только глаза.

Помню, впоследствии нас, маленьких школьниц, повели в музей— большое здание с колоннами на Волхонке. И там в зале античного искусства я приметила статую греческого юноши, бегущего с факелом в руке. Встрепенулась: — Это же мой дядя Ника! Вылитый он!

Меня засмеяли девчонки, ошкаркали учительницы.

Но что в память крепко врежется, то и останется: «мой» Ника — греческий юноша с полуобнаженным торсом. Бежит стремительно с факелом в высоко поднятой руке. Сквозь тьму.

Неведомо—куда?

Мне новый дядюшка так понравился, что я и после беспрестанно теребила взрослых: куда же Ника ушел, когда вернется? Пришлось расспросы прекратить: отец вздыхал, отворачивался; один раз мне померещилось — в папиных глазах блеснула слезинка... Значит, спрашивать нельзя, ему больно.

Дядя Васо — тот свой.

Ничего загадочного. Живет в Москве. Учится в университете. Приходит часто. В косоворотке, в студенческой фуражке. Снимая ее, причесывается пятерней. Вешает фуражку в прихожей, не глядя. Она падает, я ее ловлю. И вынимая из-за ремешка пояса растрепанный учебник «Малинин и Буренин», спрашивает:

— Ну-с, племянница молодая, как дела?

Молодая племянница готовится поступать в гимназию, сразу во второй класс. Так хочется родителям, но по годам—мала еще. Надо подрасти. Как бы это ускорить? Подобно детям всего мира, я делаю зарубки у дверей. Не помогает! Расту медленно. Меня убедили, что надо хорошенько заняться арифметикой с дядей Васей. Тогда дело пойдет быстрее... попробуем!

Ох и скучная штука «Малинин и Буренин».

Складываешь груши, вычитаешь яблоки, подсчитываешь рубли да копейки... Огорченно говорю дядюшке: — Сложение могу, вычитание могу, а вот **помножение** мне никак не удается.

Дядюшка искренно удивлен: — Умножение? Так это же прелесть! Таблицу умножения надо учить наизусть, **как стихи**. Ты послушай: пятью пять — двадцать пять... шестью восемь — сорок восемь...

Как стихи? Совсем другое дело! Вероятно, теперь рост мой двинется быстро вверх, потому что стихи я люблю и заучиваю легко. Даже не учу—сами укладываются в голове. Особенно те, что можно петь: «Как ныне собирается вещей Олег» или «Буря мглою небо кроет». Попробую-ка так же с таблицей. Попрою ее.

Вечером мама застает в детской комнате странную сцену: мы с Татусей лихо отплясываем... таблицу умножения.

Пятью пять — двадцать пять!

Шестью восемь — сорок восемь!

Пою во все горло и пританцовываю.

Крошечная Татуся оттаптывает ритм толстыми ножками и усердно вторит: — Шестью восемь — солок восемь.

Нас гонят спать. Ложусь усталая, но успокоенная. Выучила! Уж теперь-то наверняка начну расти. Вовсю! Как кресс-салат, который мы выращиваем в ящиках для пасхальных яиц.

Но задачки морят меня по-прежнему монотонной скукой. «Один купец купил два цибика чаю. В первом цибике было... во втором цибике было...». Слово «цибик» вызывает в воображении некий хорошо запомнившийся сундучок соломенного цвета. И размышления заводят меня так далеко от задачника, который дядя Вася держит в руке, что я уже ничего не слушаю. Спрашиваю внезапно:

— Что такое «Орловский централ»?

Как страшно бледнеют некоторые мужчины: табачно-зеленая бледность разливается от впалых щек — к вискам. Лицо удлинится. Глаза сверлят буравчиками:

— Ты где это слыхала?

Попробуй солги такому!

— Я не слыхала. Я подслушала. Папа вечером маме говорил: в «Орловском центре» — зверье. Одного матроса совсем забили, а Нике нашему на допросе....

— Молчи!

— Сломали ребро... — успеваю-таки выпалить я. Теплая большая ладонь вовремя закрывает мне рот.

— Молчи! И знай: уж если подслушивать нехорошо, то разбалтывать — еще хуже.

Дядин голос суров, жесток. Рубит слова:

— Разболтать тайну — преступление. Поняла?

Поняла. Нет, одно не поняла: почему «тайна». Или все, что окутывает Нику, тайна, мрак? «Орловский централ», какое-то «зверье» висит в моей голове громадное чудище с железными лапами. Дядюшкин голос тем временем принимает спокойный оттенок: — Итак, один купец купил два цибика... записала? Два цибика чаю. В одном цибике...

К обеду приходят отец и мать, принеся с улицы вкусный морозный запах и много мелких свертков, «фунтиков», как их тогда называли. Знаю: сейчас начнут звать Васю обедать, он будет упорно отказываться. Тогда его со смехом возьмут под руки мои родители. И повлекут к накрытому столу, где приятно круглится сыр и торчат хвостики селедок в пирляндах зелени и кольцах лука.

(С детства узнала: отказываются «откушать» не всегда только сытые. Нет, бедные, молодые и гордые — тоже.)

За обедом, между «первым» и «вторым» братья оживленно беседуют по-грузински. Маме скучно слушать непонятный разговор. И она врезается в него острым словцом, насмешкой. Поддразнивает деверя: долго ли будет он «вечным студентом», сколько еще переменит факультетов? Или:

— Кто же теперь твоя любовь? Оле Маяковской ты еще не изменил?

Играя всеми ямочками лица, мамаша бросает в мою сторону: — Как знать, может быть, кутанская Васина любовь — твоя будущая тетья?

Лицо дядюшки становится пунцовым и потным. А взрослые (как всегда, стоит разговору у них зайти о любви) приходят в веселое настроение. Дразнят, хохочут.

Пользуясь общим оживлением, я быстро кладу себе двойную порцию компоту. И запоминаю, кстати, новое имя «Ольга Маяковская» — может быть, это моя новая тетья. Интересно же!

...Но все происходит в жизни не так, как об этом болтают.

Дядя Васо женится на другой. Однажды весной, когда распахнуты рамы и моют полы, он привозит к нам молодую девушку по имени Наташа. Волос у нее масса: толстая коса, длинные ресницы, пушок на румяных щеках, бархатная бородавка, а на бородавке тоже волосы. Словом, пушиста, как котенок.

Ростом, правда, приземистая. И чем-то в облике напоминает Васенины неподнявшиеся куличи. «Твоя тетья», — представляет мне дядя Васо. Он веселый, глядит молодцом, рубаха на нем новая, вышитая, глаза блестят.

Дальше все о нем стирается в памяти. В школу поступала я уже без дяди Васо. Школа—громадное событие в жизни маленьких людей. Оно заслонило собой все... Как-то я хватилась: а Васо совсем не видать, все нет и нет его. Куда же он подевался? Разве не живет больше со своей пушистой маленькой женой в Петровском парке в деревянном домике, где такой смешной колодец у ворот?

— Выслали ваших дядюшек из Москвы. Обоих! — шепчет всезнающая Васена. — Николай Васильич в остроге сидели, за решеткой... ему много припаяли... А Василия Васильича за книжечки выслали с семьей на Кавказ, в губернию. В какую губернию — не упомянула, памяти не дал бог.

Непонятно! «Припаяли» — будто мой дядюшка — чайник, кастрюля, а не человек. И почему, за что красивого, печального Нику—в острог? В острог сажают только воров. Как могли, как смели его там бить

негодяи жандармы. О-о-о... А дядя Васо теперь в губернии. Разные бывают губернии... бегу посмотреть на карте. Есть на картах веселые губернии — зеленые, розовые, с коричневыми щетинками гор и голубыми жилами рек. А есть пустынные, белые и холодные. Такие огромные, а на них совсем нет почему-то кружочков-городов.

Где же он теперь, «вечный студент»?

И где Ника?

Два брата отца... Почему за ними плохо присмотрела их мать — моя кутаисская бебия? Как могла бабушка уступить сыновей железному Зверю? Особенно жалко Нику. Дядя Васо — тот все же не один отправлялся в «губернию», а с семьей (я понимаю, конечно, с семьей-то веселее)! И ему ничего не поломали. А вот у Ники, говорят, сломано ребро и в груди теперь «чахотка».

Приходят из Кутаиси письма.

Как-то раз, бережно складывая исписанные четким почерком прочитанные странички и утирая глаза, мама мне сказала: — Молодец твой бебия! Сколько испытаний, а как твердо держится. Крепкий характер.

Редкий случай: невестка любит свою свекровь.

БЕБИЯ

В Грузию я ей писала торопливые и потому смешные письма:

«Здравствуй, дорогая бебия. Мы переехали в другой дом. Я живу на этаже. Видно далеко. Я даже вижу Кремля. Зима теплая, мороз двенадцать. А у вас? Катаюсь на коньках, кормлю черепаху. Папа принес ежа, потом сбежал. Приезжай — скучаю».

Где-то там, в далеком Кутаиси, терпеливая бебия, надев железные счки, разбирает мои каракули. Восстанавливает пропущенные или заблудившиеся слова. И все ставит на свои места: сбежал не папа, а ежик. Если я «живу на этаже», значит, на четвертом или пятом. И видны, вероятно, оттуда башни Кремля. А что внучка скучает по ней, это она понимает сердцем.

Но бебия ждет.

Ждет осени, чтоб снять урожай в кутаисском саду. И приехать не с пустыми руками. Привезти московским внучатам грузинских гостинцев: орехи, унаби, чурчелы. Ох, как мы обожаем чурчелы—виноградные колбаски!

Они начинены орехами из бабушкиного сада. Приятно пахнут. Их толстое смуглое тельце припудрено серебристой пылью.

Отец рассказывал, будто в старину грузинские воины, отправляясь в поход, брали чурчелы с собой. Не как лакомства, а как военный паек. Ярко воображаю древних воинов: они скачут на конях, с мечами, пиками, щитами, а в переметных сумках на конских спинах — плотно уложенные смуглые колбаски — чурчелы.

Бебия обязательно привозит и бурдюк домашнего вина. А иногда глоский бочоночек, который удобно полсжить под голову. Как подушку. Мне на шею она, смеясь, надевает венок из оранжевых, тесно сннзанных в ожерелье бархатцев! Вот диво! На улице промозглый ноябрь, дождь со снегом, гололедица... а тут пахучие и свежие бархатистые цветы. Маме смешно!

— У нас такие растут на клумбах. А в Грузии, представь, их едят. Не уноси в детскую... Это — для кухни.

Как? Цветы—для кухни? Неужели цветы можно есть? Да. Их кладут в некоторые кушанья. Мне очень жалко оранжевые бархатцы. Мирюсь лишь на том, что один из венков оставят мне.

Вешаю оранжевое ожерелье над кроватью. Солнце вошло в дом, в дом вошла Грузия!

Кухня наполняется гаммой разнообразнейших благоуханий. Пряные травы многоголосно заявляют о себе: я — тархун, я—киндза, я — мята... Зернышки шепчут: я — барбарис, я — тмин. Листья шелестят: я — лавр, я — сельдерей. Целый концерт из ароматов!

Празднично, чертовски вкусно. Весело. Все в доме меняется с приездом бабушки.

Ожерелья из стручков красного перца оживили кухонные стены. Пучки сушеных душистых трав повешены по углам. Душистую траву «рехани» наша Васена упрямо кладет в угол к иконам и долго крестится, шепча что-то. Сообщает бабушке: «Я за здоровье ваших сыновей просфору вынула... увидите, все у них утрясется, все будет хорошо. Бог не без милости».

Бабушка тронута и смущена.

Легче дышать в доме с приездом бебии. Васена довольна—ей теперь не готовить. Заправлять в кухне взялась кутаисская бабушка. Папа доволен. Он знает: не будет при бебии сцен в семье. Тишь да гладь, порядок полный. Мама довольна: ей нравятся вкусные грузинские блюда, домашнее вино... а главное «влияние» свекрови на мужа. Хорошее, считает она, «влияние».

Мы любим бабушкины сласти, орехи, кушанья, а более всего ее самую. Ее присутствие.

Ее быстрые трудолюбивые руки. На левой руке бабушки шишечка, мы с пристальным любопытством при каждой встрече осматриваем шишечку. Не выросла? Не выросла.

Ладони бебии чудесно пахнут пряностями. А какую смешную привозит она кухонную ступку. Собственную, кутаисскую. Не признает бебия московских медных ступ. У нее ступка каменная. А вместо медного пестика «чертов палец»—этакий длинный каменюга. Им-то и толчет весь день: туп-туп, туп-туп.

— Доисторическое орудие пещерного человека! — пытается подшучивать отец, но за первым же ужином сдает позиции: действительно, толченые в каменной ступке травы, орехи, пряности полностью сохраняют вкус и аромат.

После ужина внучки увлекают бебию в маленькую «детскую». С криком, ахами, охами, смехом валят бебию на кровать, сами забираются туда же с ногами, сбросив туфли.

И просят сказок.

— Какую же сказку?

— Прошлогодную...

— Нет, новую! Новую!

Пока бебия раздумывает и припоминает, мы тщательно ее осматриваем и даже ощупываем. Вот ее черные четки «гишеры», необыкновенные, из каменных зерен. На левой руке — два тонких серебряных браслета и два—на правой. Почему? Четыре сына у женщины, вот что означают такие браслеты на Кавказе.

— Бебия, а бывает так, чтоб родилось у матери двенадцать сыновей, или это только в сказках?

— Почему не бывает... бывает! В одном дальнем селении у нас жена священника родила семнадцать детей и только пятеро были девочки,—вспоминает бебия, — в живых осталось двенадцать... Одни мальчишки!

— Вот здорово! — Я восхищена. Но бебия берет в ладони мою голову, долго глядит в глаза — так, что я начинаю озадаченно мигать — и медленно говорит:

— Помни: чем больше сыновей — тем больше у матери слез. Ей ли не знать. Четыре сына у бабушки.

О двух сынах пришлось ей плакать до революции. О двух других — после.

Тонки кованые серебряные браслеты кавказских матерей, да носить их — нелегко.

СКАЗКА, ПРИСКАЗКА И БЫЛЬ

— Итак, давайте расскажу вам сказание об Амирани...

Но я недовольна, протестую.

Это очень страшная сказка. Хищный орел вечно терзает печень закованного в цепи Амирани, а тот ничего поделывать не может, хоть и силен, как бог. Его пещеру накрыло снежной горой. Тело Амирани приковано к столбу. Круглый год трясет Амирани столб, силясь вырвать его из земли, и когда ему почти удается — удар «темных сил» загоняет столб обратно вглубь.

Бессильный герой! Это звучит безнадежно, и я умоляю бабушку не рассказывать про Амирани.

— Когда я маленькая была, — замечает бебия раздумчиво, — в четверг на страстной неделе у нас по деревням зажигали свечи в честь бедного страдальца Амирани. В кузнице ставили толстую-претолстую свечу. «Да поможет ему бог!» — говорили старые кузнецы. Когда-нибудь разорвет великий Амирани свои цепи, развалит горы и принесет на землю людям «хлеб без крови». Поняла? Мирный хлеб, не смоченный кровью. Такого пока нигде на земле нет.

Но я умоляю рассказать лучше про Цотне. Моя любимая сказка — Цотне. У нее хороший конец.

Долго возмись на кровати, как котятка. Швыряемся подушками, тискаем бабушку, наконец, затихаем и слушаем.

Бебия строго напоминает: — Помните, это не сказка вовсе, а быль! Цотне жил. Это записано в старых-престарых книгах...

Был такой юноша и сражался вместе с другими против турецких янычар. Сколько зла причиняли тогда набеги порабителителей Грузии.

Флодовые сады и рощи сжигали. Посевы вытаптывали. Мужчин истребляли. А женщины и детей заковывали в цепи и угоняли в рабство. И стоял стон и плач по всей земле...

— ...По всей земле, — повторяю шепотом, прижимаясь к бебии.

...Цотне сражался яростно, храбро, но не повезло ему, попал с товарищем к туркам в плен. Товарищ ослабел от ран, а Цотне сумел бежать. Убежал и спрятался. И вдруг дошло до него — люди ли передавали один другому или сам догадался: товарища его утром на площади будут казнить.

Страшную казнь придумали враги для христианского воина. Обычно в Турции приговоренного к смерти сажали на кол. Но какой смысл сажать на кол человека и без того обескровленного? Он же немедленно умрет.

А победителям хотелось потешиться... Было это в турецкой крепости. Весь город высыпал на кровли. Все балконы и окна, все переулочки были полны зевак и любопытных: ну-ка, посмотрим, как замучают христианина! Как будут истязать «неверного».

(У меня между лопатками дрожь, как от мороза.)

— Вывели парня, раздели догола, привязали к столбу. И облили с головы до ног пчелиным медом с воском. Страшная, медленная пытка... ведь мед залепляет человеку не только глаза, ноздри, рот, но и всю кожу! А тут еще солнце поднялось высоко в небе, своими палящими лучами растопило мед. И закричал человек от невыносимой муки... Тогда откуда ни возьмись выскочил из толпы Цотне, растолкал стражу, вскочил на помост. И кричит судьям, народу:

— Слушайте, люди! Вместе мы воевали, вместе в плен попали, так казните и меня!

Удивились судьи, растерялась стража. Смущился народ. И послали гонца к турецкому паше с запросом — как быть?

Паша в ту пору охотился, и была охота удачной. Не разгневался, а призадумался. И сказал: — Воистину тысячекратное надо мужество, чтобы добровольно принять мученье и позор казни. Освободить их обоих! И — освободили обоих... — торжественно заканчивает бабушка.

Со вздохом радости кидаюсь на шею бебии. Что за чудесная сказка! (Не сказка, а быль! — опять строго напоминает она.) До чего же я люблю, когда в жизни что-нибудь хорошо кончается!

— Мед вкусный, — лепечет Татуса и засыпает в уголке, чмокая губами. Мы смеемся. Бабушка готовится ко сну: плетет свои грузинские косички — серебро с чернью. Стоит в рубахе — длинной, до пят, и плетет и плетет. Косичек много. Они не длинные.

Я сейчас ее что-то спрошу. Не знаю, можно ли про это... Скорее всего нельзя! Но разве удержишься? Закидываю свои худые руки на шею бебии, стискиваю их кольцом — знаю, взрослые от этого мякнут, бебия тоже.

— Ну что тебе, гогона? Ласкаешься, как котенок, стало быть, нужно что-то? — бебия тонко улыбается.

— Нужно! — прямо сознаюсь. — Хочу спросить что-то. Скажи-ка, Васо и Ника между собою дружны, да? Как тот Цотне с товарищем?

Лицо бебии мгновенно каменеет. Вероятно, не надо напоминать об этих двух сыновьях — ведь это горе ее. Но бебия не из тех, кто уклончиво отводит вопрос.

— Да, дружны... Да, они товарищи. Это ты правильно поняла. У них настоящее братство, потому что... как бы тебе объяснить? Цель жизни у обоих — одна!

Но я добиваюсь объяснений: отчего же с Никой хуже поступили, чем с Васо? Бебия и тут не уклоняется от ответа. Только лицо ее исподволь угасает и губы как бы худеют, сжимаются.

— Для «них» Ника опаснее, чем Васо. Он дальше идет. Например, Ника с товарищами поднял восстание в военной крепости, за это всю их группу судили военным судом. О! Суд военных — страшный суд, не милостивый. Но Ника был еще несовершеннолетним, по закону не подлежал смертной казни. Даже военный прокурор это отметил. Спасла его юность...

— Царь догадался, что Ника еще совсем молоденький, и помиловал его! — радуюсь я и прыгаю пружинкой.

— Не царь! — строго останавливает бебия. — Не царь, а закон. Мои сыновья на высочайшее имя не подавали, нет! Эх, царь... — Углы губ у нее опускаются совсем вниз. — Разве царь человек? Разве он кого-нибудь жалеет? Только губит и губит народ. Да будет проклято царствие Николая во веки веков, аминь!

Такой неожиданной энергичной присказкой заканчивается старинное сказание.



Жара, пыль, удушливый запах краски. Бродят маляры с ведрами и кистями. Стекла домов звенят.

Едут фуры, телеги, подводы — на них качаются шкафы, комоды, стоящие дыбом матрацы, зеркала с отражением бегущих облаков и фикусы, укутанные марлей.

Москва выезжает на дачу.

Едет не как-нибудь, а наподобие великого переселения: тревожно попискивают канарейки в клетках, блестят пузатые самовары. Мое воображение более всего поражают трубы граммофонов, щиты подносов и острые копыя палок, на которых скоро закачаются поло-сатые маркизы.

Сейчас все это напоминает тыловой обоз великой армии.

Подпрыгивая на круглых булыжниках, тащится пол-Москвы, отступая в панике перед надвигающимся летом. Лето предсказано «жаркое, засушливое», в газетах поминуют Брюсов календарь. Взрослые изнывают от духоты и стараются, кто как может, увезти, «спасти детей от зноя». От зноя ли? В столице началась эпидемия дизентерии. Об этом газеты не пишут.

Мы тоже собираемся на дачу.

Мне беспокойно и тоскливо.

Отчего не возвращается из 1-й Градской моя Васена? Прошло два месяца с тех пор, как ее увезла странная черная карета с красным крестом на дверце. Мне без Васены — дача не в дачу. Кто сумеет, как она, бродить по лесу без дороги, узнавая направление по солнцу, по наросту лишайника на стволах деревьев, отыскивая целебные травы или волшебный «гриб» на старой березе, от которого «спадает» любая опухоль в теле человеческом, — короче сказать, знакомя меня с лесом, как с добрым другом.

Весь он, лес, у нее полезный, узнанный, свой!

Она не поет, Васена, только приговаривает: «расцвели цветы лавровые»... или «встань передо мной, как лист перед травой». Но, к сожалению, едет с нами на дачу вместо исчезнувшей куда-то Васены — румяная Маша.

Маша, та поет, еще как поет — во все горло:

...Шли они лесочком,

Да повстречались со стрелочком...

Похоже, что Маше самой не терпится повстречаться со стрелочком, так энергично собирает она нас в дорогу.

Но мы двигаемся в путь на подводе так же скрипуче-неспешно, как двигается пол-Москвы, вливаясь в общий поток.

Мама в последнюю минуту забывает дома какие-то ключи; в Немчиновке на пять минут — остановка, и она бежит, подобрав юбки, к станции: давать телеграмму папе.

«Ключи комоды запятая забыли теплые одеяла запятая ждем субботу».

— Отбили депешу! — радуется Маша, словно это самое главное в нашем путешествии.

Едем дальше. Дрожит над полями нагретый воздух.

Но вот запахло свежестью. Дорога поднимается в гору. Встает зубчатая стена темного леса... и наконец — наша дачка!

До чего маленькая, прямо курятник! Смехота.

— Зато лес—рядом,—подчеркивает мама,—сразу же за террасой. И она эффектным жестом обводит все разом — терраску с огромными трещинами в полу, перекосившиеся от старости перила и черный лес, обступивший домик своей непроходимой чащей. Оттуда веет сыростью, таинственным шепотом деревьев и неслышанным покоем, какой бывает, вероятно, на дне глубокого океана.

Перебросить ноги через перильца, и ты уже в лесу! — я так и делаю.

Пока взрослые вбивают гвозди в тесовые стены, скатывают бечевки, распаковывают чемоданы и отчаянно доискиваются каких-то кастрюль, костылей, подпорок, бог их знает чего, я коротким галопом оббегаю домик.

Стоп! Здесь дико, глухо, но совсем не одиноко: еще один такой «курятник» стоит рядышком, отделенный лишь штакетником от нашего двора.

Остается выяснить — кто наши соседи?

Можно разглядывать через невысокий заборчик, но какой порядочный человек глядит через забор.

Ложусь, как положено, на живот и ползу по траве — неслышно, быстро, совсем как «Кожаный чулок», про которого зимой нам вслух читал отец. Так гораздо удобнее подглядывать!

Метелки густой травы щекочут, жучки и паучки деловито перебегают по мне, словно я — не человек, а некое большое подобие их самих. «Ну и пускай! — думаю весело, с удовольствием. — Не хочу быть человеком, хочу быть живой тварью...»

С другой стороны штакетника что-то так же неуклонно приближается ко мне, не поймешь — собака? кошка?

Трава в чужом дворе выше, гуще. Лебеда, репейник, крапива... верно, очень толстокожее животное ползет сквозь такую заросль, высматривая или прицеливаясь.

Мы разом оба подняли головы... Мальчишка!

Тоже следопыт, да какой стойкий: в репьях весь.

Волосы острижены «под ноль». Кожа розовая, как у поросенка.

Макушка золотом отликает.

Глаза фаянсово-синие. И как подобает следопыту, никакого выражения «в суровых чертах каменного лица». Все как у Фенимора.

Только сопит уж очень громко. Так не полагается.

— Ты чего сопишь? — спросила я.

— Крапива жжется, — честно призналась голова.

Я прыснула.

— Тогда перелезай скорее на нашу сторону, у нас никакой крапивы нет. Мягко, хорошо...

И я радушно похлопала ладонью по необжитой еще земле.

Но странный мальчик возразил: он должен сначала спросить разрешения у отца. Если отец позволит играть в чужом саду, он «перепрыгнет как переплюнет», это для него не загвоздка.

Я разочарованно протянула: — Иди, спрашивайся.

Странный человек упруго вскочил на ноги и оказался крупным, упитанным мальчишкой лет десяти в коротких брючках, открывавших слишком белые для следопыта колени.

Нет, мне не повезло. Какой там разведчик! Обыкновенный городской паренек, да еще «послушный» — у отца должен спрашивать, перелезть ли ему через забор или не перелезть!

Странно, не по-людски.

Тем временем новый знакомый умчался, молодежато вскидывая ноги, по направлению к другой дачке, спрятанной в кустах бузины.

Неизвестно с кем посоветовавшись, он через пять минут вернулся разрумяненный, горделиво и довольно ловко «переплюнув» штаткетник, упал на траву недалеко от меня и стал лечить ожоги крапивы прикладыванием листьев конского щавеля, сообщив между прочим, что он — Шурка.

Я тоже назвала себя, сомневаясь в душе — стоит ли с таким Шуркой водиться.

Тут Шурка выразил интерес на круглой физиономии, справившись — откуда я умею ползать несильно, по-следопытски? И знаю ли я, что такое «гуроны» и «опоссумы».

Я отвчала, что знаю Фенимора, «Кожаный чулок» и все такое прочее.

— Ого!!! Ты даже знаешь Фенимора? Я тронут, двинут, опрокинут! — завопил в неподдельном восторге Шурка — и в самом деле опрокинулся, встал на голову и зааплодировал ступнями ног.

Это уже было по-настоящему занятно, мне понравилось.

А когда новый знакомый ужасающе зарычал и пошел ко мне на четвереньках, я постаралась как можно скорее соннуть первый попавшийся прутик луком и пустила в него воображаемую стрелу.

— Вздз...

— Правильно! — одобрил, умирая в судорогах, тигр. — Ты даже на девчонку не похожа... все делаешь по-опоссумски. А скажи-ка, — лицо его изобразило коварство, — небось Фенимор Фенимором, а княжну Джаваху все-таки почитываешь... взхлеб?

— Какую... Джаваху?

— Черт... ну какую, которая всегда в обморок падает да стихи читает! Институтки, пелеринки, ленты, кружева, ботинки... Ты, может, с Лидией Чарской не знакома даже?

Я тщетно вспоминала, имеется ли среди знакомых моих родителей дама с такой фамилией, и, не вспомнив, покачала головой.

Шурка ходил кубарем по траве, делал стойку, аплодировал ногами и, наконец, задохнувшись, опустился на траву уже совсем рядом.

— С тобой стоит дружить!

Он пояснил: у него «полторы тысячи знакомых девчонок» — и ни одна не знает Фенимора, ни одна! Зато все обожают Чарскую и наизусть читают про княжну Джаваху.

— И от этого глупеют прямо на глазах. Ненавижу девчонок... до рвотины!

Оскорбившись за половину рода человеческого, я колко ответила, что зато я не понимаю тех мальчишек, что за каждой малостью лезут к старшим: «можно» да «нельзя». Разрешите высморкаться! Можно ли чихнуть?

— Это потому тебе непонятно, что у тебя семья не военная, а у меня семья — военная, — хладнокровно отрезал Шурка, — у нас с отцом уговор: дисциплина — первое дело. Он мне — приказ. А я ему — есть выполнять приказ! Мы с ним, знаешь, дружно живем... и вполне друг друга понимаем.

Я крепко засомневалась в правоте последних слов, но сочла неудобным спорить.

Шурка был так счастлив, что нашел себе товарища! Его оловянные глаза блестели пуговками.

— Я, знаешь, из тебя настоящего парня сделаю. Научу стрелять! Сперва из лука, потом... у отца попрошу оружие...

Это было совершенно фантастично, зато прельщало неотразимо. Вечером мы с сестренкой пили на терраске настоящее парное молоко («прямо из-под коровы!»), заедая его черствыми, но вкусными гречневыми лепешками, привезенными из оставшейся где-то там Москвы...

Над дачкой сгустилась непроглядная темень. Маша зажгла стеариновые свечи; тотчас над некрашеным столом заплясал хоровод мошкары.

Самовар то ныл, то подмигивал красными угольками.

В лесу ухала ночная птица. Похоже было на безумный смех, тотчас подавляемый.

По коже забегали мурашки.

— Ржет, как филин: ух! ух! — недобрительно передразнила птицу Маша и тут же, к слову, рассказала страшную историю о разбойниках, зарезавших дачников длинными ножами. Дачники-то оказались глупыми: слышат, филин орет, ну и растворили двери, хотят птицу отогнать, чтоб спать не мешала. А «те» и ворвались... ножи дли-и-ные... черные бороды прицеплены, морды замотаны тряпками, чтоб не узнали... Да ничего, Наталья Львовна, давно это было.

— Ой, боюсь! — вскрикнула Татуся и выплюнула пол-лепешки, приговариваясь к реву.

Я пришла к заключению, что пора мне вмешаться.

— Боятся нечего, — авторитетно заявила я. — Рядышком, на другой дачке, живет военная семья. Отец офицер, сын — тоже офицер, только... в будущем, сейчас он учится. Дома у них — масса оружия. Есть даже пистолеты Лепажка «со всегда взведенным курком». И случись что плохое, я тотчас крикну «Шу-у-урик!», — приложила ладони ко рту трубой, — это же мой приятель...

— Уже! — прошептала мама. — Ну и ну!

Этот Шурик стреляет в цель, у него собственное монте-кристо, он попадает в яблочко с двадцати шагов...

Запихав лепешку в рот, Татуся пошла спать, совершенно успокоенная.

УЧИСЬ, СОБАЧКА!

Лето стояло необычайно жаркое, безветренное.

Июль, настоенный на луговых травах, густой, как пчелиный мед, опьянял нас, ребят, томной ленью.

Где-то далеко горел лес, и до нас доползал горьковатый, дымный запах беды; в полях останавливались косцы, заслонив глаза ладонью от нестерпимого блеска солнца, тревожно вглядывались в марево зноя.

Но что понимали мы, беспечные щенки? На качелях оборвались веревки, в гамаке появились дыры. Сколько раз мы, укачавшись, летели вверх тормашками и падали в траву!

Мы хохотали от неожиданности, вопили от ушибов — и колотили землю кулаками, словно только в этом и была она, земля, виновата перед живыми существами: твердая, ушибает!

Дружба с Шуркой крепла, казалась нерасторжимой, да и что могло бы расторгнуть наш союз?

Шурка рос без матери. Она не умерла, но куда-то исчезла — и он никогда не вспоминал о ней — вслух.

Глухая, угрюмая бабушка вела хозяйство офицера. О Шурке она заботилась, но умеренно: все ее внимание поглощала варка варенья.

Любопытно было подглядывать, как старуха, причмокивая, лила с ложки розовую струю на блюдце, но я никогда не видела, чтоб она для внука положила на блюдечко хоть ложку пенек.

Скупая.

Покроет очередную глиняную банку варенья восковой бумажкой, обвяжет бечевкой и снесет, испуганно озираясь, в погреб. Страстно хотелось, чтоб она хоть разок скувыркнулась там, перебила бы свои банки или разлила варенье... так нет же, обходилось.

Шурик, нутром чувствуя мое неодобрение, защищал бабу, хвалил ее «запасливость», ее «хозяйственность», чмокал и предвкушал, как здорово будет подсластиться зимой, хвастал и лез из кожи — пока я наотрез не оборвала:

— Терпеть не могу сладкое. Могу жить даже без сахара.

Тогда он утешился и просиял — может, ему, бедняге, и зимой варенья не доставалось, но ведь важно защитить честь семьи!

А отец Шурки — офицер сидел за книгами, готовился к экзамену в военную академию. До поздней ночи в его окошке горела лампа. Он ни с кем из нас никогда не разговаривал, но проходя мимо, шелкал шпорами и отдавал честь так учтиво, что приходилось, хочешь не хочешь, делать запятую ногой.

Но мне не нравился «Рыбий хвост» — так про себя прозвала я офицера. Не нравились его узкие глаза меткого стрелка, длинное лицо и тонкие губы.

Что за манера — пощипывать усики, усмехаясь свысока и так негромко командовать, обрывая интересную игру, — откуда-то издалека: — Шурик! Обедать.

— Есть обедать! — тотчас отзывался этот несчастный, рабский, подневольный сын, даже не помышляя о том, чтоб выпросить еще минуточку.

Совершенно непонятно, почему мама назвала однажды «Рыбий хвост» джентльменом.

Маша, захлебываясь новостями, которые приносила откуда-то, как сорока на хвосте, шептала однажды, делая круглые глаза и ужасаясь: Шурикова-то мама, оказывается, жива!

— В другом городе... вот крест, не вру! Люди здешние знают... не первый год семья дачку снимает. Нашла вертлявая бабенка себе сокровище: цирковой борец! Усач, красавец... влюбилась. Муж застал и — выгнал.

— Тише, Маша, дети слышат...

Я преувеличенно внимательно вырезаю бумажные цветы.

— С той поры высылает ей полное содержание, но на глаза показываться не велит и сына не отдает.

— Он джентльмен, — твердо сказала мама.

— Я же это и говорю: в полных дураках! И обо всем молчит. Все молчит. Бабуку содержит; не его мать-то она, а той жены... Ну, ради мальчонки.

...Все лето мы с Шуркой купались и плавали вперегонки. Отдыхали на песчаной отмели. Строили мощные крепости из сырого песка, а потом с дикими воплями разрушали их...

Не оставлять же такую красоту коровам, которые плелись на водопой, сонно помахивая хвостами и угрожающе глядя на нас.

Дружба крепла. Мы уже договаривались с Шуриком о встрече зимой.

Он записал мой телефон в хорошенькую книжицу с золотым тиснением «Школьник». Меня таинственно обозначил в ней одной-единст-

венной буквой, проворчав под нос: — Мне и так понятно... А другим не покажу!

Потом нарисовал «наш герб»: две скрещенных стрелы, над ними — пчела.

Что это могло означать? Конечно, дружбу?

Автор герба загадочно усмехался, никому не открывая тайны.

И вдруг — незадолго до отъезда произошла между нами ссора! Да какая страшная ссора — ни за что бы не поверила, что такое может случиться между двумя понимающими людьми, поклонниками Фенимора!

Мы сидели рядышком на скамье, болтали ногами и поминутно хохотали — просто так, от здоровья, избытка сил и хорошего настроения после купанья.

Помню, колено мое было расцарапано, и Шурик великодушно предлагал, что он на него «поплюет — и все пройдет».

Мимо протрусила рысцой жалкая, пегая, довольно уродливая собачонка, любимица хозяев дачи, живших летом в сарае неподалеку.

— Это сен-бернар, — надув щеки, важно назвал Шурик модную тогда породу дорогих собак.

Оба прыснули. Я откликнулась, что перед нами скорее «сен-дворняк», — и оба опять прыснули.

Шурик решил обучить вертевщуюся вокруг нас Жучку двум-трем нехитрым фокусам и в приступе веселья прокричал:

— Учись, собачка! Студентом будешь.

А я подхватила еще громче, еще задорней:

— А не доучишься — офицером будешь.

Остроту эту поведал мне когда-то «вечный студент» дядя Васо.

Сидели, рассказывал дядя Васо, однажды на бульваре две компании: компания офицеров и компания студентов. Офицеры решили поддразнить студентов и скомандовали такой же вот Жучке: учись, собака, студентом будешь! А студент, известно, за словом в карман не лезет, отбрил военных: а не доучишься, офицером...

Меня поразила наступившая вдруг тишина.

Шурка сидел немым истуканом, постепенно тяжело краснея. Даже уши его сквозили багровым в лучах заходящего солнца. Губы, всегда добрые, сжалась — стали тонкими, злыми. Белесые брови сошлись в одну черточку.

Он поднял на меня холодный взгляд сузившихся глаз.

Тяжелое чужое лицо.

— Чего ты... Шурик! Шурик же!.. Да ты что?

— Не «что» я, а «что» ты, — с ненавистью выговорил мой бывший друг, — соображаешь или не соображаешь, кому говоришь и что говоришь?

Тут только до меня полностью дошло, чем я обидела Шурку. Эх, нескладная! Матери у парнишки нет, бабушка-сквальга, один отец только на свете... правда, это «Рыбий хвост», но все же — любить отца надо, гордиться им — тоже надо.

А отец — офицер.

Эх, беда какая.

Попробую-ка отшутиться.

— Шурик, ведь это все неправда, просто такой анекдот, этого не было. Никто собачку не учил...

Он вперил в меня ненавидящий взгляд:

— Не было?? Было! Все наше училище про этот случай знает. Хочешь, покажу тебе бульвар, покажу тебе скамейку, на которой тогда офицер зарубил...

— Зарубил?

— Зарубил нахала-студента.

И Шурка, с изуродованным бешенством лицом, хлестнул пругом по воздуху — наотмашь, наотмашь, р-раз, р-раз...

Всесильные боги, что случилось тогда со мной!

Кровь ударила в голову. «Зарубил нахала-студента»...

Быстро мелькнул в памяти дядя Ника в кандалах, с гордо поднятой головой... ему жандармы сломали ребро... дядя Васо, «вечный студент» — его в тюремном вагоне выпроводили из Москвы в ссылку...

Не помня себя, я вцепилась в Шурку, он — в меня, и мы покатились по земле, ревя и колотя друг друга с деловитым остервенением, как молотят снопы.

Наши вопли слышны были на всю округу.

Ужасаясь, подбегали какие-то взрослые, растаскивая двух подравшихся ребят. Неслась от дачи, всплескивая руками, моя мама. И бежал, обгоняя ее, еще кто-то, звенящий шпорами, с суровым окриком: — Шурка! Встать! На что ты похож?

— Пустите меня, — вопил Шурка брыкаясь, — я ей сейчас еще вдарю... такая же дура, как все девчонки.

Я ничего не говорила, вцепившись зубами в его руку.

Нас еле оторвали друг от друга.

Его матроска и мое нежное платьице были изорваны, в пыли. По щекам текли кровь, сопли, слезы.

У него в горсти оказалась зажата прядь моих оборванных волос.

А я ему крепко вцепилась чем-то (кажется, кеглей), и под глазом бывшего приятеля вспухал, наливаясь синевой, большущий фонарь.

...Поздно вечером, когда мы в гробовом молчании заканчивали ужин (Татуся все еще всхлипывала от страха, мой же лоб украшала марлевая повязка и жевать было больно — губа сочилась кровью), приехал из города отец.

По-видимому, ему все рассказали.

В полном молчании он съел пшеничную кашу и ни разу не поднял на меня глаз.

Не поднял их, даже когда в саду раздался изящный звон шпор, и без предупреждения на нашей терраске внезапно появился незванный гость.

«Рыбий хвост»!

У меня сразу заболело во всех ушибленных и не ушибленных местах.

Заалевшись, Маша бросилась подавать гостю табурет, мама чуть наклонила голову... никто не знал, что сказать. Кроме него — «Рыбьего хвоста».

Тонко усмехнувшись, офицер сразу повел речь о летней дружбе двух ребят, «о «милой девчурке», согревшей одиночество некоего «дикря-мальчишки».

— И я вижу, летнее сближение было взаимно полезным, — любезно шутил «Рыбий хвост», — мой сын узнал, что девочки далеко не глупы, умнее мальчишек иной раз. А ваша дочка, надо признать, недурно усвоила уроки бокса, закатила моему чудачку такой нокаут...

Он коротко засмеялся — слишком коротко.

— Так, впрочем, сыну и надо! — закружился офицер. — Зачем было вспоминать доисторический анекдот, тем более, что анекдот этот неверен...

— Разве? — внезапно откликнулся мой отец из темноты.

Он встал, чтоб закурить. «Рыбий хвост» предупредительно шелкнул зажигалкой, подал огонек.

Обменявшись кивками, мужчины быстро разошлись по углам.

— Неверен, утверждаю, в той части своей неверен, где говорится: «а не доучишься — офицером будешь». Видишь ты это, Инна?

Офицер отогнул лацкан, показывая какой-то значок, абсолютно для меня непонятный. Я вперила в него мрачный взгляд.

— Высшее образование, — спокойно разъяснял «Рыбий хвост», словно мы были здесь вдвоем, только он и я, — видишь ли, девочка, все меньше и меньше становится у нас недоучившихся офицеров.

Я прошептала нечто еле слышное, и офицер, улыбаясь, подставил ухо: что лепечет, дескать, милое дитя?

— Она говорит, — промком перевел отец, — что ударила вашего сына не за это, а за его **последние слова...** Какие? Ну, смелее, Инна! Не молчи.

— Офицер... зарубил... студента, — пролепетала я, и слезы снова обожгли мне глаза.

Слегка порозовев, «Рыбий хвост» сделал произвольное движение шеей, словно ему жал тугой воротник.

— Мой сын повторяет глупую сплетню училища. Такого факта на самом деле не было.

— Был! — с силой ворвался в разговор отец. — И не один и не только в Москве, много было и повсюду. В Одессе, Батуми или в Тифлисе... В Петербурге или — совсем недавно — **на Лене...** далеко от столицы или же в самом центре ее — какая разница? Но такой факт был, не мог не быть.

Теперь они стояли друг против друга, скрестив непримиримые взгляды, сверкавшие холодно, как клинки.

О да, примирить их было невозможно.

— Слишком часто в нашем обществе, — размеренным голосом говорил мой отец, будто по бумажке читал, — необходимый аргумент заменяют... ударом кулака. Сказать-то ведь нечего! Значит, саблю наголо и р-р-раз! зарубил на месте.

Он швырнул папиросу в сад, и мы почему-то все проследили полет красной точки во мраке.

«Рыбий хвост» высоко поднял угловатые плечи.

Он очень, очень сожалеет — стоит ли придавать обычной детской ссоре несвойственное ей значение.

Обращался «Рыбий хвост» теперь исключительно к матери — отец мой словно перестал для него существовать.

— Я дорожил их дружбой и право же, если бы знакомство наших детей продолжалось, нрав Шурки смягчился бы... это было бы доброе, женское влияние...

— А влияние училища, где хвалят убийц, где поддержать «честь мундира» — значит зарубить безоружного? — глядя на звезды, вслух размышлял отец, повернувшись ко всем спиной. — Это тоже доброе влияние?

Краснея, мама пошла проводить до калитки церемонно откланявшегося военного.

Меня отослали спать.

Уже засыпая, услышала через тонкую перегородку голос отца:

— Вот тебе и «джентльмен». Поняла теперь? Каста. Военная каста. Нет... нет... Не уверяй меня. Не знаю среди них «порядочных». Царское верноподданное офицерье... сплошь — бурбоны. Э, брось! Чуть кто заденет, чуть стоит кому зацепить их опозоренный мундир, как они бросаются в кровавый бой. Видала, как гаденыш разукрасил девчонку?

В панике я закрылась подушкой — звуки спора смолкли.

Не зная еще, что за штука — политика, я уже на себе ощутила ее давление. Как болели мои шишки, мои царапины! Как нестерпимо грустно было сознавать, что никогда ни при каких обстоятельствах знакомство с Шуркой уже не возобновится. Раньше я считала: подумаешь, велика беда — кто кого отлупил! На дворе, в игре — всегда так. Сегодня он — меня, завтра я — его. Потом помирится и все будет как раньше. Дружба, споры, игра, веселье. Оказывается, нет...

Важна причина.

Важно, что было поводом к драке.

Впервые я задумалась над тем, из-за чего бывают нелады между людьми.

Отцы могли бы и не вмешиваться в мою распрю с Шуркой. Я сама собственной шкурой ощутила: мальчишке ненавистно все, что я люблю, а мне противно то, чем он гордится и кичится. Случая с «сочечкой» могло бы и не быть... другой подвернулся бы.

Одного неосторожного слова довольно — и вдруг друзья становятся врагами.

Потому что выясняется: они — на разных берегах.

СТИХИ

Перевод с грузинского Евг. Евтушенко

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ЛЮБИМОЙ

Писал он, что когда твои глаза
Его души коснулись нежно-нежно,
Они внезапно стали цвета неба,
И этот цвет переменить нельзя,
Что помнит он все муки, забытье,
И за роялем пение твоё.

И он писал: «Зачем тот синий цвет,
Песнь под сурдинку, бесконечность миглов,
Когда тобой в Гянджу отпущен с миром,
Но мира в мире мне отныне нет?»

Так шелестеть деревьям удалось,
Как шепчешь ты. Бросаюсь я на шелест,
Как сокол с полусвернутою шеей,
Запутавшись в сетях твоих волос.

Да, твой манок меня зачаровал
И синевой глаза мои подернул!
И бьются соловьи в ночных потемках,
Друг друга убивая наповал.

* * *

На ложе твоём прикорнули стихи,
Апрельских садов прикорнули метели.
Оденься туманом, как будто Метехи,
Созвездьями волосы туго стяни!

Но стягивать волосы не по тебе —
Тебе ни меня, ни тумана не надо,
Не надо ни рая, не надо ни ада,
Ни звезд—хоть останься все небо во тьме.

Приданое ревности лучше сожги!
Пусть кончики пальцев легко и прозрачно
Ко лбу моему прикоснутся просяще
И скажут дрожаньем своим: «Помоги!»

И я обыщу закоулки ночей,
Все руки о звезды себе исколовши,
И тихо приду к твоему изголовью
С охапкою хвороста лунных лучей.

Но каждый твой волос, как лунная нить.
Для этих волос мой подарок—он лишний.

Вокруг трава от крови их сыра.
Ты их бросаешь в бой движеньем перстня.
Со мной играет шало твоя песня,
Как будто с тенью собственной серьга.

Сквозная алазанская лоза,
Жару и холод ты осилишь, стерпишь.
Твои глаза растут в траве, на стеблях,
На дне ручьев лежат твои глаза.

А я, как дервиш, по земле хожу
И к истине дорогу проторяю,
Но по ночам с укором повторяю:
Зачем тобой отпущен я в Гянджу?

Среди чужой крикливой толчи
Ищу твой голос тихий и печально
Перебираю звезды машинально,
Как будто четки вечные мои...»

Испевшейся птицей ночью неслышной
Из них я хотел бы гнездо себе свить.

Дорогу к тебе я найти не могу,
Но мягкой походкою, тонущей в листьях,
Ты бродишь в моем воспаленном мозгу,
Как будто по улочкам узким тбилиским.

На ложе твоём прикорнули стихи,
И радуги край за балкон зацепился —
И сам я сомнений своих застыдился —
Сомнения мне отпусти, как грехи!

Пускай на открытые раны мои
Прольются волос холодящие струи,
Пускай твое горло, свирелью воркуя,
Журчит, как журчат соловьи и ручьи.

Но это уже невозможно... В тоске
Я пел тебе песню блаженства и муки,
Но сумрак застиг меня на полувзвук
И в ночи запутался я, как в силке.



СТИХИ

Перевод с грузинского Ст. Куняева

МОСКОВСКИЙ СЕНТЯБРЬ

Дождь прошел... Как мальчик на ходу
он повис на поручне трамвая
и припал к вагонному окну,
за трамвайной жизнью наблюдая.
Кто дремал, не зная новостей,
кто шушал сегодняшней «вечеркой»...
Женщина стояла у дверей
с ветвью клена огненной и мокрой.
В сумерках, спускаясь под уклон,
шел трамвай походкою неверной.
А за городом печальный клен
шевелил обломанную веткой.
На коре светились имена
и сердца пронзенные стучали.
Вечные желанья, письма,на,
подтвержденья страсти и печали.

Заревом светился небосклон
и дожди сентябрьские шумели...
На ветру покачивался клен,
как моряк с наколками на теле.
Женщина стояла у двери,
и в руке, опущенной безвольно,
листья треугольные цвели
яростно, отчаянно и знойно.
Хлопнул лифт и затворилась дверь.
Не спеша вошла... Легла... Молчала...
В кувшине пылающая ветвь,
как пожар, квартиру освещала.
А трамвай, звеня во все звонки,
мчался мимо сумеречных зданий,
чтоб спасти от сумрачной тоски
груз предчувствий, время ожиданий.

* * *

Наполненное солнцем и травой,
стогами, паутиной, щебетаньем,
кончалось лето, источая зной,
и все вокруг светилось расставаньем.

Блеснет в ручье журчащая вода,
как привиденье — призрачно и зыбко.
Вода... А может быть, твоя улыбка,
потерянная мною навсегда?

Я никогда не думал, не гадал,
что есть такое слово: преходяще...

* * *

Зачем я вспомнил в этот миг
ветра Кахетии горячей,
бессильный зной, ослиный крик,
ослиный глаз, как уголь горящий?

Со строгой точностью наук
сползает оползень в овраге,

Мокрым светом светилось Жинвали,
и глаза у медведя светились,
и во тьме мои мысли сверкали,
как подковы о камни искрились.

Мы бродили без дома, без цели,
тучи с неба срывались оравой,
серебром и печалью звенели
твои серьги над Черной Арагвой.

И волнуясь, зеленую гору
мы ладонями нежно ласкали...

Мое желанье облаком парящим
легко летит в темнеющую даль.

Наверно, догорающий костер
наваял мне вечернюю тревогу.
Лежу. Дышу туманом и травую
и понимаю вечер и простор.

Черта зари пылает вдалеке
царапиной у неба на щеке.

и Веспер, замыкая круг,
встает в рассветном полумраке.

Что я утратил? Что со мной?
Зачем я вспомнил в этот вечер
полуденный сигнахский зной,
горячий кахетинский ветер?..

ЖИНВАЛИ

Мокрым светом светилось Жинвали,
и глаза у медведя светились,
и во тьме мои мысли сверкали,
как подковы о камни искрились.

Мы бродили без дома, без цели,
тучи с неба срывались оравой,
серебром и печалью звенели
твои серьги над Черной Арагвой.

И волнуясь, зеленую гору
мы ладонями нежно ласкали...

Ветер мчал нас навстречу простору,
словно птица, что отбились от стаи.

Мы брели по туманной тропинке,
прожигали не наши полудни,
и горели в огне, как тростинки,
что бесшумно горят в полнолуние.

А луна ударялась о скалы
и стояла по шею в Арагви...
Мы ладонями гору ласкали
и горели, и все ж не сгорали.

Белая Гора

ПОВЕСТЬ

Перевод с грузинского А. Абуашвили

БАТУ КАЛАНДАРИЯ

Темраз женился вторично. Заволновалась семья Бату Каландария, задумался глава семьи. Темраз был его младшим сыном. Все в доме перепуталось из-за этой женитьбы, вот и завязался узел — концов не сыщешь!..

У Бату была большая семья. Трое детей, Нестор, Темраз и Татуша, жили теперь в Тбилиси, Шалва — в деревне, Нину выдали замуж в Самурзакано. Из них больше всего верил Бату в своего старшего — Нестора, крепко на него надеялся. Как и сам Бату, любил Нестор лошадей и оружие. Приедет, бывало, в деревню — до смертного пота заготавливает отцовского коня. Бату ухмылялся в усы: какого молодца вырастил! Только последнее время Нестор не приезжал в село, все некогда ему было.

Вот Темраз — тот приезжал, да что толку: вечная его манера все не торопясь рассудить, каждый свой шаг обдумать, взвесить бесила Бату. Вина Темраз не пил, лошадей не любил, а насчет оружия при нем лучше и не заговаривать. В мать выдался, думал Бату, но Темраз и на мать не был похож.

Хорошая семья была у Бату Каландария. Дома он оставил самого смирного и безответного сына — Шалву. Не то чтобы оставил, просто Шалва сам остался. В школу он учиться не пошел, ну а неученому человеку, известно, какая в жизни дорога. Потому и звала его Елене несчастным, так и будет весь век спину гнуть, говорила она.

Почти всю низкооплачиваемую работу в колхозе делал Шалва. Знали, что спорить он не станет, скажи ему раз — и достаточно. Должен же кто-то это сделать, говорил Шалва и шел работать, добросовестно, доводя до конца все, за что ни брался.

И Шалва не любил лошадей — любил быка, корову, собаку. Кошек терпеть не мог. Перед матерью ему было неловко, а то не взвидеть бы их кошке белого света. Зато собака так и вертелась возле него, добро бы еще охотничья — нет, самая обыкновенная безродная дворняга. Отправляясь мотыжить кукурузу, Шалва брал с собой корову, а Курша

провожала их до самого поля, разок-другой обегала участок и трусила обратно. Вечером, когда Шалва кончал мотыжить и, гоня впереди сытую корову, выходил на проселок, Курша, весело виляя хвостом, встречала их на полпути. Шалва гладил ее, счастливая собака принималась прыгать вокруг хозяина. Потом они спокойно шли домой — Шалва, сытая корова и Курша.

— Пришли, — говорил Бату Каландария.

— Раньше всех в поле выходишь, сынок, неужто тебе и возвращаться позже всех надо? — укоряла сына Елене.

Так изо дня в день мирно текла их жизнь, пока не появилась в семье Каландария первая невестка. Первой невесткой была жена Нестора. А получилось это так: Нестора, недавно продвинувшегося по службе, послали в командировку в свой же район. Встречали его с почетом: подумать только, вчера мальчишкой здесь бегал, а нынче район ревизует. Бату радовался, гордился сыном: проверять такой огромный район — надо большое доверие заслужить. Закончив в райцентре все дела, Нестор собрался было ехать домой к отцу, но когда он садился в бричку, к нему подошел какой-то здоровенный мужчина и сказал:

— Здравствуй, сынок, не знакомы мы с тобой, зато отец твой знает меня хорошо. Мы соседи, может, слышал даже — Темква Вахания... Уважь, сынок, друга отца, ни один гость отсюда не уезжал, не отведав нашей хлеб-соли...

— Не обижайте его, уважаемый Нестор, просим вас, все просим! — раздалось со всех сторон.

Нестор сел в бричку и усадил рядом с собой Темква. Бричка тронулась.

Стоило Нестору чуть захмелеть, как он тут же терял голову, забывал все на свете и кутил напропалую. И в тот раз, как всегда, быстро опьянев, он всю ночь сидел за столом, пил, пел, словом — радовал семью Темква Вахания. Но утром он еще сильней порадовал отца семейства, а заодно и удивил — отозвал Темква в сторонку и сказал: «Мне нравится твоя дочь, я сейчас же должен на ней жениться». «Подумаем, — сказал Темква, — поговорим, спросим у девушки». Нестор не дал никому ни думать, ни колебаться. Не смогли его переубедить, даже отложить женитьбу не согласился. Увез кроткую, тихую, как перепелка, Пацию в Тбилиси.

Была она тогда всего-навсего ученицей девятого класса. В городе продолжить учебу ей не удалось, так и осталась Пация без среднего образования.

Елене эта история с самого начала не понравилась: что, невест на его долю не хватило бы, нашел у кого дочь похищать — у Темква Вахания! Кто он такой, разве он нам ровня?

Елене гордилась овоей родословной. Над всеми Вахания, Годелия и Каландария она посмеивалась. Отец Елене — Парсадан Габуния происходил из знатной семьи. В Кутаиси он считался богатым человеком. Потом дела его что-то запутались, постепенно он потерял все и остался на бобах. Начал пить и в конце концов до того опустился, что стали его возить по деревням танцором на свадьбах. Стройный, гибкий, как прут, старик в черной чохе тешил пирующих шегольским танцем... «Гей, гей, Парсадан!» — кричали подвыпившие гости и заставляли беднягу плясать до утра. Пьяный старик не замечал, как уставал, слабел; бывало, тогда только и кончались эти танцы, когда он без сознания валился на пол. И вот однажды на рассвете, танцуя во дворе, Парсадан упал, ударился виском о камень и умер.

Так бесславно закончилась жизнь потомственного дворянина. Все в деревне знали эту историю, и когда Елене принималась хвастать своим происхождением, ее живо ставили на место...

Бату был доволен, что сыновья вовремя обзавелись семьями. Женились они тем же способом, что сам Бату: ни у кого позволения не спрашивали — взяли и увели девушек к себе домой.

Бату это нравилось: мужчина должен быть мужчиной, сам женишься — сам и решай, зачем у других ума одалживать? Бату даже у Елене не спрашивал, хочет она выйти за него или нет? Все женщины хотят выйти замуж, все мужчины хотят жениться, чего ж тут спорить и пререкаться?! Прыгнул он тогда в седло и поскакал в Кутаиси. Неужто Габуния откажутся выдать дочь за Бату Каландария? Сутками человек не слезает с коня, ночует под открытым небом, носится, как вихрь, по долинам Цхенисцхали, в любую цель без промаха бьет из ружья. Так кто ж из Габуния станет ему перечить?

...В один из летних вечеров внес Бату в свою хижину закутанную в бурку, лишившуюся чувств Елене. С тех самых пор они всегда вместе; хижина превратилась в дом, пустой двор — в сад. Вырос виноградник, вознеслись к небу акации, выстроившиеся вдоль забора. Шумно стало и в доме, и во дворе.

Но безжалостными оказались годы. Состарился, угомонился Бату Каландария — где теперь та беззаветная удаля. Ржавчина проела его ружье и маузер, конь Бату мирно пасется в поле. Изменились времена. Из детей кто вовсе не интересуется оружием, а кто, наоборот, заимел по несколько револьверов — Бату таких сроду не видал. Красивые, блестящие, маленькие, их даже в карман для часов можно спрятать. Совсем не понимают они друг друга, Бату и его сыновья. Ну скажите, не стыдно ли, что сын Бату Каландария ездит на базар на велосипеде?! Это Шалва предпочитает велосипед коню. По воскресным дням он с утра готовится к базару, вынесет велосипед во двор, возится с ним, возится, вычистит, вымоет, потом сам приоденется, вскочит на этого черта двухколесного — и покатил. Бату не раз видел, как, возвращаясь домой, Шалва тащил велосипед на плечах. Испортится где-нибудь на полпути — ну и взваливай себе на спину, волоки это железо на своем же хребте, вот он, твой велосипед! Шалва не спорит с отцом, что лучше: лошадь или велосипед. Просто мне, говорит, больше велосипед нравится. Бату стоит только прикрикнуть на него — и Шалва бросит свой велосипед, но Бату не хочет этого. Шалва человек тихий, как овца. Хороший сын. Любит семью, работяга. Не может Бату его обидеть. С детства Шалва такой: молчаливый, грустный, спокойный. Никогда еще Бату не повышал на него голоса. Нестора, случалось, стегал кнутом, Темраза много раз драл за уши, и Нину, и Татушу. А Шалва... Шалва — совсем другое дело. С утра до ночи работает, с утра до ночи в земле копается. А по воскресеньям садится на свой велосипед и едет на базар...

Пока Нестор жил в деревне, все только о нем и говорили. Был он вожаком первых в селе комсомольцев. Вечно они с кем-то воевали. Собирались в сельском клубе, спорили до хрипоты, кого-то прорабатывали, кого-то исключали из комсомола, кого-то принимали. Потом в деревне стали говорить, что сын Бату Каландария либо большим человеком будет, либо погубит себя начисто. И Темраз был активным комсомольцем, только поосторожней да похитрей Нестора. Темраз не стал бы связываться с тем, кто мог взять над ним верх, да и вообще всякое дело умел он обернуть себе на пользу.

Шалва совсем не был похож на братьев. Не стал учиться, полюбилась ему арба с буйволами, крестьянская работа. С самого начала дове-

рившись земле, словно он так и родился землепашцем, Шалва, как бык, впрягся в ярмо и потянул тяжкий груз забот кормильца большой семьи. И жену в дом привел такую же, как он сам: добрую, тихую, трудолюбивую. Встанет ни свет ни заря и крутится день-деньской, как веретено. А соседи мечтают про себя: господи, дай ты и нам такую невестку, как у Каландария.

Протирая со сна глаза, выйдут на балкон Елене и Квацаци, взглянут друг на друга и улыбнутся, довольные. Елене рада: раз уж нашлась женщина, которая даже Квацаци понравилась, значит она воистину молодчина! Квацаци — старая дева, взял Бату в дом сироту-племянницу и воспитал ее. Квацаци привязалась к Елене. Теперь уж каждая из них любит другую больше, чем саму себя. Только не вышла Квацаци замуж и раскапризничалась. Думал Бату все же выдать ее за какого-нибудь степенного, домовитого человека — хоть отдохнуть от нее. Но не тут-то было! Квацаци стала упорно отказывать всем женихам, ну а Бату, понятно, тоже не мог настаивать. Так и осталась Квацаци у них в доме. Помогала Елене растить детей, все домашние хлопоты лежали на ней, и в колхозе она работала — как настоящий член семьи. Мальчиков всех звала «мои воспитанники», требовала, чтобы уважали ее, как отца с матерью. Когда Тинико выходила замуж за Шалву, ей говорили, что в доме Каландария невестке туго придется: сразу с двумя свекровьями жить!

Но Тинико привыкла к обеим свекровьям, потому что главой семьи был мужчина, который никому бы не простил несправедливости — ни молодому, ни старому. Посмел бы кто в семье не выполнить распоряжения Бату! Да что в семье — во всем селе не нашлось бы человека, который мог его послушаться. Когда Бату повышал голос, все домашние замолкали: приказывай, батоно¹, все сделаем. Но Бату не любил кричать без повода. Никогда не надо приказывать того, что нельзя выполнить, часто говорил он.

Счастливо жили Каландария. От дочерей — Татуши и Нины тоже приходили хорошие вести. У Шалвы было уже трое детей, у Татуши четверо, у Нины пятеро, у Темраза один ребенок. Тринадцать внуков росло уже у Бату, и это радовало его сердце. Только Нестор остался бездетным. Бату жалел Нестора. Сам-то Нестор, правда, не очень переживал. Молод еще, говорил Бату, не знает цену детям.

* * *

Всего лишь дважды приезжал Бату в Тбилиси: первый раз в студенческие годы Темраза, и второй — вот сейчас. Пуще смерти ненавидел он поезда. Его раздражало, когда паровоз с ревом врывается на вокзал и люди огромной толпой начинали метаться по перрону, как слепые мухи. В городе Бату чувствовал себя словно в тюрьме. Нужно было соблюдать тысячу всяких правил, город сковывал его незримыми цепями, поэтому Бату всегда был не в духе. С презрением смотрел он на мужчин, перебегающих улицу, — точно зайцы, думал Бату. Сам он не трогался с места, пока не проезжала последняя машина, только тогда, не прибавляя шагу, чинно переходил он на ту сторону. Он счел бы себя оскорбленным, если бы уподобился этим испуганным зайцам. Стоило ему на час выйти из дому, как он возвращался расстроенный: то какой-то человек ему не понравился, то повздорил с шофером или с кондуктором, а то и сам на себя обижался — почему сделал так, а не эдак.

В прошлый его приезд с ним приключилась история — век не забудешь. Он тогда впервые в жизни был в Тбилиси, приехал просто так —

¹ Батоно — форма почтительного обращения.

отдохнуть, город посмотреть. Нестор заладил: пойдем в театр, с моим начальником познакомлю.

В театре все очень торжественно, масса народу, столько людей вместе Бату видел разве лишь в Хони на ярмарке. Поднимается он по лестнице, сыновья идут рядом. «Мраморная», — думает Бату про лестницу, спокойно вышагивая по ступеням; на нем чоха, серебряный наборный пояс с кинжалом, плывет Бату, стройный, как струна, слегка покачиваясь. Сыновья возле него кажутся карликами, ни один не выдался ростом в отца. Вошли в огромный зал. Все здесь сверкает, как в сказке. Потом сыновья куда-то завели Бату, пройдя по узкому коридору, и представили его пожилому мужчине. Пожилой мужчина пожал Бату руку, улыбнулся Нестору и сказал:

— Какой у тебя отец молодой!

Нестор смутился.

«Это и есть начальник», — подумал Бату и оглядел тощего пожилого мужчину. Начальник пришел в восторг.

— Сколько вам лет... Как его величать?.. — спросил он у Нестора.

— «Караманович», — шепнул Нестор.

— Сколько вам лет, Бартломе Караманович?

— Я не Бартломе, батано, я — Бату... Мне уже пятьдесят.

— Бату, Бартломе, — все едино, — сказал начальник. — Оказываемся, мы с вами ровесники. Как вы хорошо выглядите, — он взял Бату под руку, и они снова вошли в тот сверкающий зал. Ликованию Нестора не было предела.

В фойе прогуливалось много народу. Чоха не была тогда в диковину тбилисцам, но все залюбовались статным, плечистым мужчиной, и каждый проходивший мимо разглядывал его. Бату заметил это, ему стало неловко. Начальник представил его своей жене, теперь их окружили люди. Некоторые, видя, что это нравится начальнику, проявляли повышенный интерес к Бату: расспрашивали, кто он, откуда приехал. Нестор и Темраз сияющими глазами смотрели на отца и наперебой знакомили его с друзьями.

Но случилось неожиданное. Когда раздался второй звонок и Бату, окруженный толпой, проходил мимо больших зеркал, он, не то поскользнувшись, не то зацепившись ногой за дорожку ковра, вдруг упал. Причем падал он как-то смешно: ноги разъехались, Бату закачался, нелепо всплеснул руками и так грохнулся на пол, что кто-то даже вскрикнул от страха. Нестор подбежал к отцу, хотел поднять его, но Бату уже сам вскочил, выхватив кинжал.

— Отец, отец, ты что?! — закричал Нестор и вырвал у него кинжал. Бату, весь побелев, озирался вокруг горящими глазами, словно искал в толпе виновника. Никто не мог выдержать его взгляда. Прибежали администратор, директор театра, милиционеры.

— Ничего не случилось, батано, — говорил всем Нестор; он быстро взял себя в руки, велел Темразу увести отца, а сам отправился к администратору убеждать его, что все произошло случайно. Никто не понимал, что же, собственно, стряслось, почему старик рассердился, почему обнажил кинжал.

Когда толпа разошлась и все собрались в кабинете директора, Нестор признался своему начальнику:

— Эх, батано, отец мой удивительный человек: ведь это он сам на себя разозлился, что так опозорился при всех.

Потом, оказывается, Бату Каландария целый месяц ходил как неприкаянный, клял себя и весь белый свет: как же, мол, угораздило меня упасть.

Сколько лет прошло с тех пор... За все это время ни одна живая душа не видела Бату в Тбилиси. Да и теперь никто его здесь не ждал, но разве мог Бату усидеть дома — ведь Темраз снова женился. Не нравилось это Бату. Он бы, конечно, никогда не позволил себе вмешиваться в личные дела сына, но судьба внука не давала Бату покоя. У Темраза был двухлетний сын от первой жены, рос он в деревне. Все Каландария души не чаяли в маленьком Гураме, оставшемся без матери. Темраз тоже очень любил сына, потому и в деревню стал чаще приезжать. Пока не женился во второй раз...

* * *

Вторая жена Темраза была дочерью Ное Симонишвили, в прошлом богатого купца. Двадцати восьми лет, гинеколог по профессии, Элисо уже раз была замужем, но детей у нее не было. Темраз и не думал жениться вторично, это Элисо заставила его подумать. Темраза, сделавшегося холостяком, привела она в свою пятикомнатную квартиру. У Элисо было все, ради чего некоторые бьются целую жизнь: квартира, деньги, кое-что из драгоценностей. С Темразом она держалась совершенно непринужденно, без всякой стеснительности, и этим очень удивила его. Никогда еще не встречал Темраз таких женщин, поначалу Элисо даже не понравилась ему.

— Все это мне оставил отец, — сказала однажды Элисо. — Мечтаю о спокойной жизни. Хочешь — совсем не работай, с моей специальностью без куска хлеба не останемся. Только, ради бога, не ввязывайся ни с кем в эту вашу борьбу и не устраивай мне на дому собраний и митингов. Будто нельзя обойтись без этого и жить как нормальные люди!

Когда Элисо так открыто изложила ему свою жизненную «философию», Темраз изумился. Тем не менее он перезнакомился с родными и друзьями Элисо, взвесил по своему обыкновению все «за» и «против», думал, думал — и переселился в пятикомнатную квартиру на третьем этаже.

К родственникам мужа Элисо относилась с большим уважением, только настоятельно просила всех не поминать в ее доме первой жены Темраза — Ламары. Все, что было связано с Ламарой, нервировало ее. Раздражаясь, Элисо сразу становилась другой, тут уж она не разбирала, кто перед ней: муж ли, гость ли, мужчина или женщина — всех подряд костила последними словами. Голос ее в такие минуты внезапно грубел, и вся она делалась похожей на ведьму.

Одно время Темраз переживал все это, но потом привык. Ламару-то Темраз не вспоминал, хуже было другое. Обидно было, что Элисо и о Гураме слышать не хотела. «Еще чего — буду я Ламариному ребенку в деревню конфеты возить», — кричала она. Сам Темраз от силы в год два раза навещал сына, а когда у Элисо родился ребенок, он и вовсе позабыл о Гураме.

Вот что мучало Бату Каландария. Теперь надо было действовать очень умело. Он приехал в Тбилиси, чтобы сказать Темразу: сынок, видишь, как пошли твои дела, тяжко будет Гураму с Элисо. Пока мальчик еще ничего не смыслит, надо подумать о его будущем. Давай сразу убьем двух зайцев: у тебя есть уже другой ребенок, да, наверно, еще родится, а Нестор, бедняга, бездетный. Пусть уж лучше он родного племянника усыновит, чем чужого ребенка, а?..

* * *

Так они и договорились в этот приезд Бату. Элисо была на седьмом небе от счастья. Подумать только, вот умница старик: как просто ре-

шил такой трудный и сложный вопрос! И Темраз был доволен: в семье воцарились мир и спокойствие, а главное — он безболезненно отделился от сына. Ну а Нестор — тот был сама радость: из всех своих племянников и племянниц он больше всего любил Гурама. Гурам же безмятежно топал по широкому дедушкиному двору; ему было все равно, кто бы что насчет него не решал.

Нестор и Пация дважды приезжали проведать Гурама. Навезли ему конфет, игрушек, всяких сладостей, но ребенок дичился обоих. Он жался к бабушкиному подолу и ревел на весь дом. И Елене много пролила слез: чуяло ее сердце, что хотели увезти внука. Долго они толковали между собой, пререкались, обижались друг на друга. Нестор и Пация говорили, что мальчик должен расти в городе, но Елене заспорила: не дам погубить ребенка! Квацаци поддакнула: мальчик и так слабенький, к нам-то с трудом привык, а в новой обстановке он и совсем зачахнет. Бату заключил: раз так, пусть пока Пация поживет в деревне, привыкнет к ней ребенок — тогда и увезет, куда нам спешить?

Эта мысль всем пришлась по душе. Пация осталась в деревне.

ГУРАМ КАЛАНДАРЯ

Единственное, о чем мы горевали, я и мои двоюродные братья, так это о том, что у нас не было мяча. Я ждал его со дня на день. Смутно помню, как отец обещал: в этот раз не смог купить, вот скоро опять приеду — обязательно привезу. Он долго не приезжал, и я совсем позабыл его лицо. В дедушкиной комнате висела увеличенная фотография молодого мужчины. Дедушка брал меня за руку, подводил к фотографии и говорил: «Вот, сынок, твой отец». Я долго глядел на фото, потом спрашивал:

- Дедушка, а отец скоро приедет?
- Скоро, сынок, скоро.
- А мяч он привезет?
- Привезет, сынок.
- А почему до сих пор не привез?

Дедушка говорил, что в магазинах больше нет мячей, что не до них теперь, зато уж потом, немного погодя, снова начнут выпускать большие, очень большие мячи.

Что значило «немного погодя»?..

— Рассветет — стемнеет, рассветет — стемнеет, еще раз рассветет — еще раз стемнеет, и опять рассветет, — говорил мне дедушка.

Я все-таки продолжал надеяться. Мне казалось, что если отец приедет, то он непременно привезет мне мяч. А в ожидании настоящего, большого мяча я целыми днями гонял самодельный, матерчатый. Тогда даже старшие ребята играли в футбол матерчатым мячом или полурасплюсненным «цитрусом» (так мы называли плоды трефолиата).

Но однажды случилось что-то совсем неожиданное: солнечным утром, когда мы сидели под тенью ореха, у калитки остановилась большая пролетка.

— Гость приехал! — вскочил Зурия. Все побежали к воротам. Мужчина в военной форме поднял меня на руки и поцеловал. Из кухни выглянула бабушка, на балконе появилась моя тетя, посмотрев на нас, она вдруг крикнула бабушке:

— Мама, мама, Нестор приехал!

Бабушка, простирая руки, шла нам навстречу, прибежали тетя Тинико и тетя Квацаци, из виноградника показался дедушка. Все тор-

мошили, целовали, обнимали отца, задавали кучу вопросов: откуда? наконец? неужели снова должен уехать? не болен ли он?

Шумной процессией поднялись по лестнице. Вдруг отец прибавил шагу, миновал гостиную, подошел к двери в заднюю комнату. Я понял, почему вздохнула бабушка, почему дедушка, увидев отца, ни разу не улыбнулся. В той комнате лежала моя больная мама. Нам, детям, не позволяли туда входить. Каждый день бабушка подводила меня к двери, отворяла ее и звала маму: доченька, вот твой Гурам. Я стоял на пороге и глядел на маму: она лежала совсем желтая, как свеча. Мама с кровати слабо махала мне рукой, смеялась и плакала. Я не знал, почему моя мама смеется и плачет.

Отец вышел на балкон, вытер платком глаза. Бабушка опустила голову, все долго молчали.

— Теперь мне надо ехать, — сказал наконец отец.

— Где вы, во Мцхета стоите? — спросил дедушка.

— Завтра нас там уже не будет, едем на фронт.

— Иди, сыночек, поиграй! — сказал мне дедушка. Мне хотелось послушать, что еще скажет отец, поиграть я бы успел потом. Молча спустился я по лестнице и тихо забрался в подпол, под тем самым местом, где они стояли на балконе.

— Что ж, все ясно, кладите ее в больницу, поберегите мальчика. Нету мне счастья, — сказал отец.

Все молчали.

— Все, что возможно, я делаю, сынок, она ни в чем не нуждается, — заговорила бабушка. — Молоко, яйца, жареный цыпленок — это у нее каждый день, да что толку — не ест. Как же быть, ох, горе мое, горе...

— Не так уж все безнадежно, — сказал дедушка. — Сколько людей я знаю: туберкулезные, а живут, работают даже. Был бы уход хороший, да лечение.

— Говорят какое-то новое лекарство появилось, как его там?.. — бабушка не могла вспомнить названия.

— Сульфидин, — напомнила тетя Тинико.

— Сульфидином туберкулез не лечат...

Я весь превратился в слух. Неужели все это правда? Неужели маме ничем нельзя помочь? И она все время будет так лежать в той комнате, за закрытой дверью? А потом, что будет потом?.. Этого я уже не мог представить.

— О Темразе знаешь что-нибудь? — спросил у отца дедушка.

— Он неплохо устроился, может, останется.

— О нас, небось, и не вспоминает?

— Наоборот, обещал, что будет помогать...

— Куда уж там, — вмешалась бабушка, — эта женщина так забрала его в руки — не до нас ему теперь.

— Что Шалва пишет?

— Жив, говорит, здоров. Знаешь ведь он какой: помирать будет, а напишет — здоров.

— Эх, смотрю я, затянется эта война, — сказал, вздыхая, отец.

— А что американцы, все никак не начнут? — спросил дедушка.

Больше они не вспоминали ни маму, ни дядю Темразу, ни дядю Шалву. Говорили долго. Наконец отец попрощался со всеми. Он опять взял меня на руки, поцеловал и ушел не оборачиваясь. Бабушка, тетя Квацаци и тетя Тинико вслух плакали. Дедушка молча стоял и глядел вслед отцу, который очень быстрыми шагами удалялся от калитки.

Я убежал, снова спрятался в подпол и тихо заплакал. Откуда-то появились Зурия с Тамазом. У обоих за пазухой было полно орешек, крепких, с большой палец толщиной, они с трудом кололи их, набирали целую пригоршню ядрышек и одним махом отправляли ее в рот.

— Смотри, какие орешки мировые, — сказал Зурия.

— Кто тебе дал?

— Дядя Теофиле.

Мы вылезли из подпола, уселись на траве и принялись грызть орешки. Я все время думал об отце. Насчет мяча он мне ничего не сказал, и сам я не смог спросить, не смог, потому что отец очень спешил. Держа меня на руках, он говорил то с бабушкой, то с тетей Тинико, то с тетей Квацаци. Отец был грустный, когда целовал меня, я видел — глаза его были полны слез. Как же я мог спросить его про мяч?

Вскоре нас позвала тетя Квацаци: «Стемнело уже, — говорит, — идите ужинайте, умывайтесь и отправляйтесь спать».

В ожидании ужина мы уселись на кухне вокруг огня. Ужин как всегда состоял из подогретых на огне кусочков мамалыги.

Бабушка прямо на горячие угли ставила проволочную сетку и раскладывала на ней оставшуюся от обеда мамалыгу. Тут же рядом обычно стоял кувшин молока, но на него мы даже не смотрели. Мы знали, что молоко кипятят для моей мамы, она не могла есть подогретую мамалыгу. По вечерам мы все время ужинали этой самой мамалыгой, а по утрам пили чай без сахара с мандариновым джемом и черным хлебом. Мы очень любили мандариновый джем и густо намазывали им хлеб.

Редко когда вместе с нами садились ужинать дедушка, бабушка, тетя Тинико и тетя Квацаци — все, что оставалось от обеда, было нашим.

Мы с шумом принялись за еду. Когда поблизости не было дедушки, мы всегда за ужином валяли дурака, смеялись, болтали между собой. Вдруг Тамаз бросил есть, встал: «Не хочу этой мамалыги!» — забился в угол, насупился, повесил нос и что-то заворчал.

— Тетя Квацаци, смотри-ка, невоспитанный какой: оставил еду! — воскликнул я, но тетя Квацаци была погружена в свои мысли и не обратила на меня внимания. Я догадался, почему Тамаз перестал есть и надулся: он глядел на кувшин с молоком.

— Иди скорей, доешь! — сказал я громко.

— Не хочу... — пробормотал он и еще глубже забился в угол. Я вскочил, попробовал силой поднять его, но не сумел. Тогда я шлепнул его по голове. Тамаз заревел. Зурия не переносил, когда кто-нибудь трогал Тамаза, я знал это, но я был самый старший и не боялся Зурии. А он уже вскинулся, схватил меня за горло и тоже разревелся:

— За что! За что моего Тамаза ударил!..

На шум прибежала бабушка.

— Что случилось? Что с вами? — прикрикнула она на нас и с упреком обернулась к Квацаци. — Что ж ты не присмотришь за ними — ведь чуть не убили друг друга!

— Что я могу поделать, устала я, Елене, сил моих больше нет... Не до их ссор мне сейчас, — сказала тетя Квацаци.

— Мальчик мой, что с тобой, почему ты не ешь? — приласкала бабушка Тамаза. — Кто обидел его?

— Никто, — сказал я бабушке и посмотрел на Зурию. Тот опустил голову.

— Почему же ты не ешь, мой маленький?

— Не хочу я вашей мамалыги! — глотая слезы, выговорил наконец Тамаз.

— Хорошо, хорошо, деточка, не плачь... Успокойся... Скажи, чего тебе хочется, я сейчас же приготовлю.

Но Тамаз не говорил, чего ему хочется. Мы знали, что из еды, приготовленной для моей мамы, мы ни в коем случае ничего не должны были просить. Если бы до нее дошло, что нам не достается ни молока, ни яиц, она бы и сама не притронулась к еде. Стала бы нервничать, плакать и в тот же вечер у нее поднялась бы температура. Маме говорили, что детям всего хватает, мы знали об этом и не капризничали из-за скудной пищи. Тамаз был еще маленький, он поздно догадался, что провинился, потому и не отвечал бабушке.

— Я знаю, чего он хочет!

— Чего, скажи, деточка,ними с души камень.

— Молока!..

Бабушка посмотрела на тетю Квацаци.

— Налей ему немножко, вот там чашка стоит.

— Тут и так мало, Елене...

— Ничего, немножко, совсем немножко, я воды добавлю.

Бабушка усадила Тамаза к себе на колени. Тетя Квацаци накрошила полную чашку мамалыги, залила ее разбавленным молоком и поставила перед бабушкой и Тамазом.

* * *

Шло время. Папа писал нам редко. Маме однажды сделалось очень плохо. Наш дом наполнился людьми, пришел врач в очках. Дедушка говорил, что продаст дом, все продаст, лишь бы чем-нибудь помочь моей маме. И правда, с тех пор, как мама заболела, мы стали продавать все, что только было в семье. Дедушка всякий раз очень расстраивался, когда собирались продавать телку, индюшку или курицу. Он все время придирался к бабушке по пустякам.

— Что с тобой, Бату? — говорила бабушка. — Чем я тебе не угодила? Не я же начала войну; что делать, нужны деньги, столько народу надо кормить, поить, сам знаешь, ведь больная в доме.

Была у нас одна-единственная лошадь — Кариши. На этой лошади, можно сказать, держался весь дом, поэтому мы не продавали ее. Зато срубили во дворе все высокие акации и отвезли их в колхозную коштору на строительство нового навеса. Взамен колхоз отпустил нам много спелой кукурузы, и в тот год нам уже не пришлось в июле переводить на муку молочные початки.

Кариши не была рабочей лошадью.

Она быстро нагуливала тело: подержим ее, бывало, с неделю в поле — и она становилась круглой, как мяч. Но и дичала она так же быстро. Стоило ей провести две ночи в поле, как она уже не подпускала к себе человека, арканом приходилось ее ловить. Только два человека в деревне умели обуздывать бешеный нрав гнедой Кариши. Это были дедушка и извозчик Вала. Извозчик Вала говорил, что Кариши арабской породы, а дедушка уверял: какой там арабской, когда она дочь кобылицы Бада Хаиндрава.

Дедушка очень любил извозчика Вала. Когда надо было подковать лошадь или объездить ее, дедушка всегда звал Вала, больше он никому не разрешал подойти к необъезженному коню. Низенького росточка, в неизменной круглой войлочной шапке на маленькой голове, Вала смахивал на ходячий гриб. Ступал он не спеша, был неразговорчив, два слова еле выдавит и те произнесет как-то вяло и без выражения. Посторонний

ни за что бы не поверил, что Вала вообще способен приблизиться к лошади. Его тихие, безобидные глаза с одинаковым спокойствием глядели и на человека, и на лошадь, и на трактор. Но стоило ему продеть ногу в стремя — и бесстрашной любого наездника гнал он вскачь коня.

Нашу Кариши Вала любил, как свою собственную лошадь. Когда дедушка сказал, что Кариши нужно выехать для одноколки, Вала чуть не заплакал. Но другого выхода не было, Кариши должна была привыкнуть к хомуту. Потом ее можно было бы впрягать и в ярмо. Быков почти не осталось в деревне. Колхозные поля лежали неспаханными. Тяжелей всего приходилось во время сева: корма быкам никогда не хватало до весны. Бывало, уже в феврале нигде не достать пучка сена. Оголодавшие за зиму быки не тянули плуга, выдохшись, валились прямо в борозду. И сколько ни бей их потом, они не двигались с места, пока их не впрягали из ярма. У нас был участок — гектар земли, который надо было вспахать, засеять, и все это должна была выдюжить Кариши.

Продолжение следует

СТИХИ

УЛЫБКИ

Если я улыбаюсь, то только вам,
Радость, как солнце, нужна друзьям.
От лица к лицу и от глаз к глазам
Переходит улыбка, скользнув по сердцам.

Не ставьте шлагбаумов ей на пути,
Улыбка, как ветер, щекочет цветы,
Улыбке— зарей на асфальте цвести,
Да здравствуют губы — улыбок мосты!

И если крутая житейская кладь
Подломит собой неокрепшие плечи.
Друг другу тогда улыбнемся опять —
Улыбка всесильней напутственной речи.

Так пусть же звездой улыбка сияет,
Пусть каждому в ней—как в просторной
одежде,
Пусть каждый улыбки в букет собирает,
Лишь утро над миром счастливо забрезжит!

Перевод с грузинского М. Тарасовой

ХВАЛА ДОЖДЮ

Когда они бранят батумский дождь,
Которым тучи темные набрякли,
Они не знают, как блестят в саду
Улыбкой грустной дождевые капли.

Они не знают, что он говорит
Ветвям и листьям в забытии глубоко,
Батумский дождь, — то нежно шелестя,
То рушась по гремящим водостокам.

Деревьям он и улицам к лицу.
Пространства горные — в таинственном наряде,
Когда, подобно женским волосам,
Из облаков его струятся пряди.

Магнолии ликуют под дождем,
Зеленые ладони освежая,
И камушки прибрежные гремят,
Закрученные волны провожая.

Нехорошо бранить батумский дождь
И сетовать на дни, когда он длится, —
Под этот дождь так сладко спится нам,
Под этот дождь так сладко нам не спится.

Он, как и вся природа, многолик:
То предстает мальчишкой-непоседой,
То стариком, что дарит нас с тобой
Неспешною и мудрою беседой.



Перевод с грузинского В. л. Л и ф ш и ц а

ДРУГ

Представьте, даже взгляд холодный друга,
как солнце, греет в пасмурные дни
и лечит вас от всякого недуга.
Глаза его помогут лишь одни!
О, друг мой старый! О, приятель давний!
Прошу тебя — пускай летят года,
старайся позабыть плохие даты,
старайся быть хорошим, как всегда.
Знай, радость бытия все раны лечит.
И ждут сердца тепло грядущих дней.
Ведь быть плохим—всегда намного легче,
а быть хорошим — в сотни раз трудней.

Перевод с грузинского В. л. Ш л е н с к о г о

По пути борьбы и побед

Советский народ и все прогрессивное человечество с нарастающим энтузиазмом готовятся к славному юбилею — 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эру в многовековой истории человечества.

Грузинский народ вместе с трудящимися нашей страны с чувством величайшей гордости окидывает взглядом пройденный им путь, полный событиями всемирно-исторического значения, героической борьбы за успешное строительство коммунистического общества.

Советская власть в Грузии, как это видно из публикуемых документов, получила в наследство от старого строя почти полностью разрушенное империалистической войной и меньшевиками и без того отсталое народное хозяйство — промышленность, сельское хозяйство и транспорт.

Однако в результате претворения в жизнь ленинской национальной политики за годы Советской власти быстрыми темпами развивалась социалистическая индустрия, повлекшая за собой крутой подъем всех отраслей народного хозяйства. Осуществляя индустриальное развитие республики, трудящиеся Советской Грузии под непосредственным руководством Коммунистической партии достигли огромных успехов в области технической реконструкции хозяйства. Преодолевая все трудности, успешно боролись за осуществление непосредственных указаний В. И. Ленина, касающихся коренного возрождения экономики и культуры Грузии.

В результате этой борьбы рабочий класс республики добился блестящих успехов — в короткий исторический срок обеспечил восстановление разрушенной промышленности и быстрое ее развитие. Была создана крупная машинная промышленность с новыми, до того неизвестными в Грузии, современными ее отраслями: черной металлургией, машиностроением, станкостроением, электровозостроением, автомобилестроением, электротехникой, гидроэлектроэнергетикой, приборостроением и рядом новых производств химической промышленности. За годы Советской власти Грузия из отсталой в прошлом аграрной страны превратилась в передовую индустриальную республику с развитым сельским хозяйством.

Эти исторические успехи были достигнуты благодаря самоотверженному труду и творческой инициативе грузинского народа, прежде всего, его авангарда — рабочего класса. В процессе бурного развития крупной промышленности и всего народного хозяйства, неуклонного

подъема общего благосостояния трудящихся происходили глубокие изменения также в количественном и качественном составе рабочего класса, сложившегося в класс социалистического общества.



Александр Кочлавашвили

1917—1921

1917 г., октября 4. — Из телеграммы о забастовке рабочих чиагурских марганцевых рудников.

Вследствие неполучения утвержденного ответа сегодня рабочие и служащие оставили работу; снята охрана с рудников, заводов и магазинов; имущество предоставлено произволу, нагрузка проданной руды остановлена...

ЦГА ГССР, ф. 1471. д. 566, л. 8.

1918 г., января 30. — Из резолюции общего собрания рабочих и служащих главных железнодорожных мастерских об оплате труда российскими деньгами.

...Ныне выпускаемые закавказскими властями денежные знаки в виде бонов еще более понизят курс рубля, а это только на руку буржуазии и спекулянтам, которые вдвойне сдерут с нас шкуру; потому мы требуем, чтобы обязательно жалование рабочим было уплачено российскими деньгами...

Газ. «Кавказский рабочий», № 22,
30 января 1918 г.

1918 г., февраля 1. — Телеграмма управляющего Ткибульскими копиями «Нахшира» о забастовке рабочих ткибульских каменноугольных копей.

Сегодня рабочие ткибульских копей «Нахшира» забастовали вследствие неполучения декабрьского жалования.

ЦГА ГССР, ф. 868, д. 36, л. 3.

1918 г., июля 20. — Из телеграммы начальника Самтредской почтово-телеграфной конторы о тяжелом материальном положении служащих конторы.

...Публика ропщет, эксцессам нет предела; чины, не получая сегодня жалования, которого ждали с нетерпением, вынуждены умирать с голоду; кукуруза 120 руб. пуд, а других съестных припасов нет. Дороговизне нет предела...

ЦГА ГССР, ф. 81, д. 192, л. 13.

1918 г., июля 29. — Из речи В. И. Ленина о «независимости» Грузии при меньшевиках. ✓

...Вы все хорошо знаете, что эта независимость Грузии превратилась в чистейший обман, — на самом деле это есть оккупация и полный захват Грузии германскими империалистами, союз немецких штыков с

меньшевистским правительством против большевистских рабочих и крестьян...

В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 6.

1918 г., августа 15. — Из телеграммы председателя общего собрания служащих Потийской почтово-телеграфной конторы о безвыходном материальном положении служащих.

...Ни под каким видом мы не можем дальше оставаться в таком беспомощном положении, так как царь-голод уже простер руку над нами... Изю дня в день наши сердца обливаются кровью при виде слез наших изголодавшихся маленьких детей, сестер и престарелых родителей...

ЦГА ГССР, ф. 1347, д. 10, л. 53.

1918 г., августа 22. — Из отношения руководителя германской делегации на Кавказе барона фон-Кресса о необходимости принятия репрессивных мер против бастующих горняков Ткибули.

...Главной причиной недостаточной работоспособности этих рудников является, несомненно, забастовка рабочих. Мне кажется, что безусловно необходимо... если рабочие... не станут немедленно за работу, то, в случае надобности, и силою их к этому принудить...

ЦГА ГССР, ф. 24, д. 100, л. 12.

1918 г., октября 9. — Из докладной записки председателю меньшевистского правительства Н. Жордания об условиях труда рабочих в Ткибули.

...Комиссия... вынесла тяжелое впечатление. Работа, особенно при имеющемся оборудовании, прямо-таки каторжная. В шахтах... просачивается вода; они полны грязи... повсюду царит хищническая система производства, — потолки в шахтах обвалились, и это создает опасность как для жизни рабочих, так и для угля, ибо в таких условиях часто происходят пожары; в шахтах много ламп без стекол, что также угрожает жизни рабочих в случае взрыва (газа) и подтачивает здоровье рабочих чадом керосиновых ламп... На открытых карьерах... во время дождя рабочим приходится работать просто в своей одежде, так как у них нет плащей. На производстве широко применяется труд несовершеннолетних на такой адской работе, как механическая сортировка... Страдания рабочих усугубляются еще и тяжелыми жилищными условиями. Дома рабочих, построенные безо всякого плана и вкуса, заброшены и остаются совершенно без присмотра. Во многих из них с крыш протекает вода, а сквозь стены свободно продувает ветер. Потолки и полы также обветшали и сгнили, — при этом как жилища, так и дворы и прилегающие окрестности, содержатся грязно. Уборных нет. Но вся беда в том, что не хватает даже и этих жилищ и что поэтому рабочие вынуждены ютиться в наспех сколоченных из старых досок хибарках, не пригодных даже для скота... Рабочие в этих жилищах лишены также и света, так как им не выдают керосина для освещения... На промыслах, где работают две тысячи рабочих, имеется больница на десять коек, и то заброшенная. Имеется лишь один врач, и когда он уходит, то рабочие остаются на попечении только фельдшера... Министерство (путей сообщения)... ухудшило эти условия еще и тем, что зарплату выдают с опозданием почти на три месяца: в первых числах сентября выдана зарплата за июль месяц, а за август и сентябрь не выдана и по сей день... В таких усло-

виях нет ничего удивительного, что производительность труда очень низка.

ЦГА ГССР, ф. 868, д. 62, лл. 122—124.

1918 г., октября 20. — Телеграмма кутаисского комиссара труда министра труда о новой забастовке ткибульских горняков.

Ткибульские рабочие забастовали. Просьбы и увещания возобновить работу ни к чему не привели. [Они] на митинге вынесли постановление не возобновлять работу до получения денег. Спешите, а то предстанут другие требования. Сообщите по проводу, как быть, и выеду.

ЦГА ГССР, ф. 868, д. 72, л. 53.

1919 г., октября 11. — Из доклада Министерства труда Грузии председателю меньшевистского правительства об экономическом положении рабочих.

...Положение рабочего класса не улучшилось, несоответствие между реальной и номинальной заработной платой стало еще больше... Заработная плата за это время (т. е. с 1914 по сентябрь 1919 г. — А. К.) возросла почти в 22 раза, в то время как цены продуктов первой необходимости возросли в 75 раз. Рабочий живет сейчас в 3½ раза хуже, чем он жил в 1914 году... Для того, чтобы приобрести (обувь, одежду и топливо), ему и всей его семье нужно на 2 месяца совершенно отказаться от пищи... Рабочие давно уже фактически не соблюдают 8-часового рабочего дня: они согласны работать 16 часов, лишь бы заработать необходимую для жизни сумму, но трагедия в том, что работы лишней нет. Промышленность пала, а та, что осталась, спешит ликвидироваться и направить освободившиеся капиталы на спекуляцию. Рабочие не находят спасения и гибнут... Смертность среди рабочих увеличилась в несколько раз и процент смертности все возрастает. Такова объективная картина.

ЦГА ГССР, ф. 24, д. 69, лл. 2—7.

1919 г., ноября 7. — Из доклада директора департамента торговли и промышленности председателю меньшевистского правительства Н. Жордания о катастрофическом положении экономики Грузии.

Скоро полтора года, как Грузия стала на путь самостоятельного государственного существования... Беспристрастное наблюдение явлений экономической жизни страны приводит к неизбежному заключению: экономический организм государства в корне расшатан, хозяйственное положение отечества близко к катастрофе... Достаточно обратиться к некоторым цифрам, чтобы составить себе наглядное представление о состоянии государственного и народного хозяйства; если же к этим цифрам присоединить объективное описание общего современного состояния торговли и промышленности Грузии, то непристрастная картина настоящего и угрожающего положения будущего достаточно характеризует печальную действительность... Выпускаемые бумажные денежные знаки давно уже потеряли свое назначение — служить средством денежного обращения в стране, и обращаются целиком в непроездные финансовые нужды государства... Денежное обращение в стране в корне расшатано. Чрезмерное переполнение каналов денежного обращения повлекло за собою все вытекающие из этого положения последствия — неустойчивость торговли и промышленности вообще, изолированность денежного рынка, страшную дороговизну коммерческого кредита, неимоверную амплитуду колебаний иностранных курсов... Создалась банковая спекуляция. В то же время промышленность страдает от отсутствия главнейших элементов, обуславливающих нормальное производство сырья, топлива, орудий производства, подсобных материа-

лов и капитала. 10 месяцев подряд, с февраля по ноябрь 1918 г., вся Грузия переживала страшное бедствие — отсутствие нефти. Целый ряд промышленных предприятий довел до минимума свое производство, а некоторые вообще были остановлены. Металлообрабатывающая промышленность, потребляющая привозной (донецкий) уголь, и ныне вообще парализована. Орудия производства, не возобновляемые и не отремонтированные с 1914 года, пришли в негодность и показывают лишь ничтожный эффект производительности.

Здесь достаточно было остановиться на нескольких отраслях отечественной промышленности, чтобы составить себе представление о настоящем положении вещей.

1) Обработка хлопка. Существующие в Тифлисе ватные фабрики бездействуют из-за отсутствия сырья (хлопка-сырца) и подсобных материалов (каустической соды и хлоровой извести).

2) Обработка дерева. Почти все предприятия бездействуют вследствие затруднений в отпуске леса Министерством земледелия и за изношенностью орудий производства (пил).

3) Обработка металлов. Отсутствие кокса, сырья, материалов, орудий производства заставляют эту отрасль лишь влачить жалкое существование.

4) Обработка животных продуктов. Кожевенная промышленность в Грузии работает лишь частью своей возможной производительности, за отсутствием отчасти сырья, а главным образом дубильных материалов...

5) Обработка пищевых и вкусовых веществ. Табачное производство испытывает острый недостаток в бумажных материалах. 6 главнейших табачных фабрик Тифлиса сократили свое производство с 39 113 пудов крошеного табаку и 2 076 миллионов папирос в 1916 году до 9 909 пудов табаку и 557 миллионов папирос в настоящем году, или почти в 4 раза, т. е. на 75 %.

Спиртовое и коньячное производство в таком [же] приблизительно положении.

6) Горное дело. Почти все отрасли горного дела в Грузии бездействуют.

Марганец, добыча коего с 1913 г. достигла 60 миллионов пудов, почти не добывается ввиду громадных имобилизованных запасов.

Медное производство на Алавердском заводе, достигшее в 1913 году выплавки 243 тыс. пудов металлической меди, прекращено за отсутствием оборотного капитала.

Ткибульские угольные копи работают в убыток.

Остальные более мелкие отрасли горного дела, за незначительными исключениями, бездействуют.

7) Электрическая промышленность в Грузии, выражающаяся, главным образом, в осветительных станциях, повсеместно находится накануне полной остановки ввиду крайней изношенности перегруженных машин.

О всех прочих мелких производствах можно сказать приблизительно то же самое.

Не в лучшем положении находятся муниципальные и государственные предприятия.

К этому необходимо добавить отсутствие или невозможность достижения устойчивого сбыта для тех отраслей промышленности, кои накопили запасы или продолжают свое производство. Происходит это по двум причинам: во-первых, из-за отсутствия самих рынков сбыта, а во-вторых — ограничений и запрещений экспорта.

Так, например, марганцевая промышленность в настоящее время имеет не проданного до 60 миллионов пудов продукта, т. е. почти все количество, выработанное после 1914 года, что повело к прекращению дальнейшей добычи...

В отношении морского транспорта Грузия находится всецело во власти иностранцев. Обладая несколькими небольшими судами, пригодными лишь для местного каботажа, она принуждена подчиняться всем предъявляемым требованиям... В настоящее время, пока Батум не входит в пределы Грузии, последняя обладает лишь одним оборудованным портом Поти, приобретшим благодаря этому исключительное значение... Обмеление порта Поти, вызванное прекращением черпательных работ, внушает серьезные опасения. Океанские суда большой осадки не могут входить в порт ввиду того, что глубина его в настоящее время поднялась с 32-х до 22-х футов...

Мы подошли теперь к рабочему вопросу, и здесь необходимо подчеркнуть два основных положения. С одной стороны, экономическое положение рабочих безусловно крайне тяжело — разница между номинальной и реальной заработной платой такова, что угрожает самому существованию человека, с другой стороны, вследствие целого ряда объективных и субъективных причин, необходимо констатировать, что производительность и дисциплина труда сильно упали.

Падение производительности труда катастрофически отражается в ряде промышленных предприятий. Упадок дисциплины труда сказывается не только на взаимоотношениях между предпринимателем и рабочим, но и на качестве продуктов производства...

Вот вкратце далеко, конечно, не исчерпывающая картина состояния отечественной торговли и промышленности, и условий, в коих она пребывает. Если к этому прибавить еще печальные данные об урожае этого года, мы получим представление о хозяйственном положении страны.

Какие же результаты воздействия всех этих условий? Движущие центры торговли и промышленности поражены.

Это повлекло за собой паралич производственных процессов, катастрофическое уменьшение количества производимых ценностей. Торговля разрушена, здоровые ее элементы отброшены, либо влачат жалкое существование; нездоровая же часть бросилась в широко раскрытые объятия спекуляции, заразившей все отрасли народного хозяйства.

Сельское хозяйство замкнулось в своем натуральном цикле, локализовало свои рынки и как бы оторвалось от общей народнохозяйственной жизни страны.

Пока еще мы получаем товары из-за границы по баснословным ценам за счет оставшихся у нас запасов, но если далее так будет продолжаться, не будет создаваться эквивалентное количество ценностей, мы уже не сможем за них расплачиваться. Тогда произойдет катастрофа, экономическая смерть страны со всеми ее ужасными последствиями...

ЦГА ГССР, ф. 24, д. 118, лл. 1—25.

1919 г., декабрь. — Из докладной записки председателя меньшевистского государственного контроля о передаче в эксплуатацию ткибульских копей частным лицам.

(Государственный) контроль присоединяется к высказанному мнению, что эксплуатация (ткибульских угольных) копей не должна оставаться в руках казенных ведомств и что выгоднее передать их эксплуатацию частным лицам на определенных условиях.

ЦГА ГССР, ф. 48-с, д. 427, л. 3.

1920 г., августа 30. — Из письма С. М. Кирова Г. В. Чичерину о хозяйственной жизни Грузии.

...Нужда в топливе у грузинского правительства огромяная, дожидает последние остатки нефти — паровозы отапливаются смесью 80% керосина, 20% нефти. Вообще хозяйственная жизнь Грузии в данный момент находится в весьма критическом состоянии: промышленности, как вам известно, нет никакой, хлеба своего безусловно не хватает, в топливе кризис; за товары, идущие извне, грузины могут предложить только марганец и свою бумажную валюту. При таких условиях нет ничего неожиданного в том, что грузинский рубль падает в своей цене не по дням, а буквально по часам. Достаточно вам сказать, что тысяча николаевских знаков во время нашего приезда сюда стоила 4 000 грузинскими бонами, а теперь за тысячу дают 18 000 рублей. Дороговизна растет с каждым днем, и правительство бессильно парализовать этот рост. На днях грузинское правительство было вынуждено повысить ставки рабочим и государственным служащим от 60 до 100%. Само собой понятно, что вслед за этим явилось новое повышение цен на все продукты... Общее впечатление от грузинского государственного хозяйства такое, что не пройдет много времени, как Грузия станет на край самой настоящей хозяйственно-экономической пропасти...

С. М. Киров. Статьи, речи, документы. М., 1936, стр. 237—240.

1920 г., октября 13. — Из доклада Н. Жордания на экономическом совещании об экономической катастрофе «независимой» Грузии.

...Мы раньше часто говорили, что мы идем к экономической катастрофе. Многие этому не верили и считали, что мы их просто пугаем... Сегодня всякий видит, что мы изо дня в день приближаемся к экономической катастрофе.

Газ. «Сакартвелос республика», 15 октября, 1920.

1920 г., декабрь. — Газетное сообщение о крайнем обострении экономического кризиса в Грузии.

Экономический кризис в Грузии достиг, по-видимому, крайних пределов. Городское трудовое население лишено буквально всех предметов первой необходимости. Наступившая холодная зима обнаружила полное отсутствие топлива. Рабочие Тифлиса сидят без света, хлеба и дров. Правительство Жордания доказало свою полную беспомощность и неспособность бороться с экономическим кризисом и вести страну к возрождению...

Газ. «Коммунист» (Баку), № 197,
24 декабря 1920 г.

1921 г., февраля 10. — Из доклада заведующего секцией опытных учреждений о тяжелом положении рабочих и служащих.

...Рабочие и служащие, от чрезмерного физического труда и нервного напряжения, являют собой страшную картину и крайне слабую рабочую силу. Больные, нервно-издерганные, удрученные мыслью о завтрашнем куске хлеба и не видя с нашей стороны соответствующей помощи, они работают отчаявшись, без души и неохотно...

ЦГА ГССР, ф. 288, д. 193, лл. 15—17.

1921 г., март. — Борьба с безработицей.

На основании постановления Революционного Комитета СССР Грузии при коллегии народного комиссариата труда организуется комиссия по ликвидации безработицы...

ЦГА ГССР, ф. 281, оп. 1, д. 11, л. 18.

1921 г., марта 12. — Из радиogramмы наркоминдела Азербайджанской ССР об открытии нефтепровода Баку—Батуми.

Сегодня, в 16 час. 10 мин., в день четырехлетия разгрома царской тюрьмы народов России, глава рабоче-крестьянского правительства Азербайджана тов. Нариман Нариманов... открыл нефтепровод Баку—Тифлис—Батуми...

Борьба за укрепление Советской власти в Грузии, Тб., 1959, стр. 249—250.

1921 г., марта 16. — В. И. Ленин о нефтепроводе Баку—Тбилиси.

...Вы читали в газете об открывающемся нефтепроводе Баку — Тифлис? Вы прочтаете скоро о таком же нефтепроводе до Батума. Это даст возможность доступа к мировому рынку.

В. И. Ленин. Сочинения, т. 32, стр. 242.

1921 г., марта 27. — Из протокола объединенного совещания президиума ВСНХ и специалистов об электрификации Грузии.

...VIII съезд Советов в своих постановлениях категорически подчеркнул необходимость скорейшего проведения в жизнь этой задачи в России. В центре России разработан единый план электрификации. В этом плане отведено надлежащее место и Кавказу... Председательствующий развивает мысль о тех промышленно-экономических перспективах, какие ожидают Грузию... Ряд новых производств вырастет [после] получения большого количества и дешевой электрической энергии, не говоря уже о переводе на электричество железной дороги и всей обрабатывающей промышленности... т. Завалишин намечает приближенные места потребления [электро] энергии... Цель: электрификация марганцевой и угольной промышленности, железных дорог и вообще всей жизни Рачинского, Кутаисского и Шоропанского уездов...

ЦГА ГССР, ф. 303, оп. 1, д. 52, лл. 1—3.

1921 г., марта 29. — Из телеграммы В. И. Ленина Г. К. Орджоникидзе о привозе хлеба из-за границы в обмен на марганцевую руду.

...Примите самые энергичные меры, чтобы... во что бы то ни стало ускорить привоз хлеба из-за границы в обмен на концессии в Грузии, марганец и прочее...

В. И. Ленин, ПСС, т. 52, стр. 118.

1921 г., марта 30. — Телеграмма В. И. Ленина Г. К. Орджоникидзе о концессиях в Грузии.

Очень прошу обратить серьезнейшее внимание на поднятый вчера вопрос об армии и концессиях в Грузии. Грузинское правительство меньшевиков заключило ряд концессий. Надо изо всех сил постараться возобновить эти старые концессии, как можно скорее и всячески постараться заключить новые, чтобы достать за концессии продовольствие. Покажите это Грузревкому и сообщите мне их ответ поскорее.

В. И. Ленин, ПСС, т. 52, стр. 118—119.

1921 г., апреля 2. — Из декрета Ревкома Грузии о социальном страховании рабочих и служащих.

Во изменение существующих узаконений и положений о страховании рабочих и служащих Революционный Комитет Социалистической Советской Республики Грузии постановил:

1. Все лица, занятые по найму во всех отраслях труда, независимо от длительности работы, а также рода службы: в государственных, общественных и частных учреждениях и предприятиях или у отдельных лиц, подлежат обязательному страхованию на случай болезни, увечья, инвалидности, старости, смерти, безработицы, вдовства, сиротства и материнства.

ЦГА ГССР, ф. 281, оп. 1, д. 12, л. 67.

1921 г., апреля 5. — Телеграмма В. И. Ленина Г. К. Орджоникидзе о переводе чиатурской марганцевой промышленности и сдаче тварчельских копей на концессионных началах.

Ваш ответ неполон и неясен. Прошу узнать у Грузинревкома подробности. Первое, подтвердило ли совправительство Грузии концессию на тварчельские копи, когда, каковы условия, сообщите кратко телеграфом, подробнее письмом. Второе, насчет чиатурских марганцевых копей: перевели ли немцев-собственников на положение арендаторов или концессионеров, когда, какие условия. Крайне важно, чтобы по этим и подобным вопросам решения были самые быстрые. Это имеет гигантское значение и для Грузии и для России; ибо концессии, особенно с Италией и Германией, необходимы безусловно, как и товарообмен за нефть, в большом масштабе с этими странами, а потом и с другими. Прошу извещать меня о мерах Грузинревкома.

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 126—127.

1921 г., апреля 11. — В. И. Ленин о положении в чиатурской марганцевой промышленности.

...Италия имеет даже концессионный договор с Грузией, а Германия находится в таком положении, что некоторым немецким капиталистам принадлежит громадный % чиатурских марганцевых копей. И речь идет о том, чтобы это право собственности перевести на аренду или концессию, т. е. тем же немецким капиталистам передать на правах аренды те копи, которыми они владели на правах собственности. Благодаря изменению политического положения на Кавказе могут сложиться концессионные отношения. А нам важно пробивать одно за другим окошко...

В. И. Ленин. ПСС, т. 43, стр. 187—188.

В. И. Ленин и разработка марганцевых руд в Чиатура.

Когда заходила речь о Кавказе, он (В. И. Ленин. — А. К.) всегда обращал особое внимание на разработки марганца в Чиатурах, предсказывая им большое будущее.

В. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин в Петрограде и в Москве. М., 1956, стр. 47.

1921 г., апреля 12. — Постановление ВСНХ о создании специального Комитета по электрификации Грузинской ССР.

Президум ВСНХ, по предложению члена президиума Г. А. Мжаванадзе, выделил Завалишина, Дадиани и Курдиани для организации специального Комитета по электрификации Грузии.

См. ЦГА ГССР, ф. 303, оп. I, д. 93, л. 11.

личием мастеровых, выполняется без задержек, и требования потребителей на предметы массового производства завода—веялки, плуги—выполняются заводом без значительных задержек. Также приступлено заводом к изготовлению новой партии мельниц и турбин. Для более успешного выполнения заказов вообще и турбин в частности на заводе устроена чертежная, где под руководством инженеров завода производится разработка проектов турбин, мельниц, молотилок, составляются рабочие чертежи, разрабатываются новые конструкции сельскохозяйственных машин... В настоящее время на заводе состоит 15 служащих и 50 мастеровых рабочих...

За время с 26 февраля по 20 августа включительно заводом выпущено: плугов — 135, веялок — 11, турбин 3(276 НР), мельниц — 6, кукурузных молотилок — 2, культиваторов — 1...

Завод может приготовить в 1/2 года: 2 000 веялок, 500 молотилок, 400 кукурузных молотилок, 7 500 плугов, 2 000 борон, требуемое количество мельниц, водяных турбин, запасных частей сельскохозяйственных орудий и мелкие заказы, если будут топливо, станки и рабочие.

III. Советский завод быв. бр. Вахнянских выдвывает гидравлические и ручные прессы, крошительные станки, плуги, дробилки...

ЦГА ГССР, ф. 829, оп. 1, д. 13, лл. 24—27, 50—52.

1921 г., сентябрь. — Телеграмма В. И. Ленину от Всегрузинского съезда металлистов и транспортных рабочих.

Товарищу Ленину. Объединенный съезд металлистов и транспортных рабочих Грузии, собравшись на первом своем съезде, приветствует Вас как вождя мирового пролетариата. Обещаем Вам, товарищ Ленин, что металлисты и транспортники, всегда стоявшие в авангарде рабочего движения Грузии, закаленные в борьбе, энергично приступят к восстановлению разрушенного народного хозяйства изменниками рабочего класса, меньшевиками. Мы приступаем к плодотворной созидательной работе, чтобы укрепить Советскую власть. Наш пролетарский привет Вам, товарищ Ленин.

ЦГА ГССР, ф. 829, оп. 1, д. 13, л. 2.

1921 г., октября 5. — Из доклада экономического отдела Ревкома Новосенакского уезда об изготовлении на месте турбин.

...Механическая мастерская с марта до сегодняшнего дня... изготовила для Носирской мельницы одну новую турбину... Составлен проект для устройства турбины (для лесопильного завода) в 300 сил...

ЦГА ГССР, ф. 303, оп. 1, д. 87, лл. 249, 251.

1921 г. — Из докладной записки в ВСНХ об организации электрометаллургического производства ферромарганца на базе электрификации.

... К разряду таких вопросов могут быть отнесены:

1) Устройство гидроэлектрической станции для выплавки ферромарганца в Чиатурском марганцевом районе по одному из проектов (на Риони, на Цхенис-Цкали или на Ткибули); устройство этой станции... поставит на совершенно новые и здоровые начала марганцевую промышленность и, вместо вывозимого сырья, даст ценный полуфабрикат, прекрасный валютный товар, при производстве которого государство может сэкономить около десяти миллионов руб. золотом в год...

ЦГА ГССР, ф. 303, оп. 1, д. 99, лл. 10—11.



Леван РЧЕУЛИШВИЛИ

Д. Какабадзе. Автопортрет.

Край родной

Давид Какабадзе относится к той плеяде советских художников, становление которых совпало с величайшим переломом в истории человечества. Он прошел сложный творческий путь, путь, полный противоречий и поисков.

Для Какабадзе-художника характерен большой интерес к традициям национального искусства и в то же время — к новым течениям в искусстве Западной Европы начала XX века. Вероятно, это в какой-то мере и обусловило неповторимое своеобразие его творческого почерка.

Поражает широкий диапазон его художественного восприятия. Разнообразие художественной манеры и техники исполнения, замечательная способность абстрагирования зримого и зримой передачи абстрактного — вот что отличает творчество Д. Какабадзе. Портрет, натюрморт, горный пейзаж, марина, миниатюра, стенная роспись, театрально-декоративное искусство, чисто декоративные композиции, оформление кинокартин или народных торжеств, оформление улиц и площадей города — такова сфера его творческой деятельности,

охватывающая почти все жанры изобразительного искусства.

Давид Какабадзе ни в одном выше-названном жанре, ни в одной выбранной им манере не колеблется. Свообразие его таланта именно в том, что в каждом произведении, на каждом этапе творческого пути ощущается заранее поставленная и тщательно, глубоко продуманная художником задача. И потому в любой серии его произведений ясно видна вариационная разработка поставленной задачи, а не непознанные пробы или искания наилучшего ее решения. Каждый отдельно взятый вариант из его серий — художественно законченное произведение.

Давид Какабадзе — человек с широким кругозором, с разнообразными интересами. Достаточно сказать, что завершая курс рисунка в классе Димитриева-Кавказского, он параллельно заканчивает факультет естественных Петербургского университета. И увлечение наукой оказалось не случайным — оно не покидало его на протяжении всей жизни. Можно смело сказать, что интересы исследователя, аналитика, ученого

сыграли огромную роль в становлении Давида Какабадзе-художника.

Небезынтересно, что в периодической печати неоднократно публиковались статьи Д. Какабадзе о теории и практике искусства. По вопросам теории и художественной критики им были изданы несколько отдельных книжек. Ему же принадлежит и первый научный очерк о замечательном грузинском чеканщике-златоделателе XII века Бека Опизари. В течение многих лет он собирал материалы и готовил большой труд «О генезисе грузинского орнамента».

Д. Какабадзе был и изобретателем. Он первым изыскал технические возможности стереоскопического изображения предметов в кино и получил патенты на это во Франции, Германии и Америке.

Примечательно, что когда художник работал над созданием стереоскопического аппарата и проводил оптические эксперименты, он в то же время стремился постичь тайны пространственного объема цвета и в своих живописных полотнах. В этот период он создал абстрактные композиции, в которых были использованы зеркала и оптические линзы. Увлечение это было недолгим, однако решенные в таких композициях живописно-декоративные задачи впоследствии нашли место в его реалистических полотнах.

Для художественной продукции Давида Какабадзе характерны серийные произведения — выполненные одной и той же манерой и техническими средствами десятки полотен одного и того же формата. В основном это пейзажи Парижа, Бретани, Тбилиси, Сванетии, Имеретии, Коджори.

В пейзажах Сванетии, как и в пейзажах Парижа и Тбилиси, использован в основном карандаш. Но в отличие от эффективных движений штриха, которые в парижской серии стали моментом самостоятельного декоративно-эмоционального восприятия, карандашный контур здесь твердо обводит границы цветовых пятен и делает их более материальными.

В дальнейшем в серии «Старый Тбилиси» тот же самый карандаш и акварель уже имеют совсем другие функции в раскрытии художественной задачи. Здесь карандаш переходит на второй план и уступает место нежной цветовой гамме акварели, передающей структуру гор, архитектурные плоскости и воздушность неба.

Эти серии — хронологически разрозненные этапы в творческой биографии художника, поэтому между ними существует, вполне закономерно, различие в подходе к теме, в осмыслении мира, но главное то, что в каждой серии, как в поздней, так и в ранней, художник создает профессионально совершенные

произведения. Изменение манеры и многообразие технических приемов не только результат профессионального роста художника. Главным образом их определяет специфичность задуманного, они являются результатом поисков новых художественных образов.

В манере художника, в его подходе к изображаемому выражается своеобразие художественного мышления Давида Какабадзе. Его творчеству наряду с высоким художественным вкусом присуща интеллектуальная пронзительность. Потому что даже зарисовки, как будто бегло сделанные художником, это всегда больше, чем простая фиксация действительности. И манера, и форма настолько характерны для изображаемого, что веришь — это единственный правильный подход к раскрытию образа.

«Когда к какой-нибудь части картины ставишь вопрос «почему?» — ответ должен естественно вытекать из составных частей самой картины», — писал Давид Какабадзе в самом начале своего творческого пути. Четкость поставленной задачи, логичная последовательность всех ее составных частей образуют гармонию, отличающую полотна Давида Какабадзе. Примечательно, что подобное вторжение разума в художественное мышление Какабадзе отнюдь не скрывает непосредственности его восприятия, наоборот, контролирует и направляет его эмоциональную потенцию. Законченные картины Давида Какабадзе — такие же живые и непосредственные, как этюды, написанные с натуры. А этюды в свою очередь, — это совершенно законченные самостоятельные произведения.

В тематике Давида Какабадзе особое место занимает имеретинский пейзаж. «Имеретия» — значительная страница в творчестве художника не только потому, что этой теме он посвящает большую часть своих полотен, а в основном и в первую очередь потому, что это есть его «собственная» тема. Тема, которая им внутренне найдена, продумана и поднята до художественного совершенства.

Еще со студенческих лет Давид Какабадзе считал, что лучшим учителем для познания грузинского «художественного языка» является природа. Красота горных склонов Имеретии, ее пестрых полей навсегда запечатлелась в сердце юного Какабадзе, и задача воспроизведения этой красоты стала неискраемым источником его творческой фантазии.

Тема «Имеретия» красной нитью проходит через весь творческий путь художника. Даже кубистские, абстрактные декоративно-формалистические поисковые решения задач изображения цвета и пространства на плоскости, казалось, были предназначены для того, чтобы

обогатить изобразительными приемами картины родного края.

Еще будучи учеником, Давид Какабадзе пишет характерные уголки имеретинской деревни. Эти первые уроки с «натуры», исполненные карандашом на бумаге, свидетельствуют о его большой наблюдательности, о непосредственной и правильной фиксации внешнего мира. В студенческие годы, во время своих приездов из Петербурга на родину, Какабадзе много работает. И особенно интенсивно — над «имеретинской» темой в 1918 — 1919 годах, перед отъездом за границу. Им уже найден собственный, какабадзевский стиль, манера обобщения и художественное видение, отличное от других. Остались позади годы учения, формируется художественное кредо.

И вот в 1918 году Д. Какабадзе создает станковую картину грузинского пейзажа — «Имеретия — мать моя».

Названию картины вообще Давид Какабадзе придавал большое значение: «В названии картины должно быть видно все ее содержание, ибо название обрамляет картину». «Имеретия — мать моя» — это не только портрет матери, как может показаться на первый взгляд, это живописная ода матери и родной природе и в то же время — первая исповедь художника. В левом углу на переднем плане сидит крестьянка и натруженными руками прядет пряжу. Простое лаконичное цветовое решение фигуры органично сочетается с образом труженицы, которая, устав от труда, трудясь же отдыхает. В сдержанной тональности написано и пространство Рионской долины. Возделанные участки земли заполняют картинную плоскость. Неба не видно — вокруг только земля. Трудом облагоустроенная земля. Фон выдержан в зеленой гамме, преобладает темно-изумрудный цвет. Мозаичная кладка желтых и красных пятен, словно ковром покрывающих горные склоны, чуть бледнеет на заднем плане.

Картину «Имеретия — мать моя» можно назвать этапной работой Д. Какабадзе. Теперь уже начинается овладение последующими ступенями профессионализма. «Больше знания и ознакомления с различными принципами искусства», — пишет Какабадзе. И для осуществления этой программы он отправляется за границу.

Парижский период в творчестве Какабадзе до сих пор еще не изучен и не оценен по-настоящему. Но как раз деятельность этих лет раскрывает многогранность таланта Давида Какабадзе, характерную для него способность к упорному целеустремленному труду, его поиски, находки, порой и ошибки. В этот период он создает стереоскопический киноаппарат, оканчивает курс Школы истории искусств при Луврском музее, ежегодно участвует в выставках,

читает публичные лекции о теории искусства, пишет и издает свои книги, посылает корреспонденции в Грузию и т. д. Для творчества Какабадзе этого периода характерны два диаметрально противоположных направления: реалистические искания и увлечение абстрактным искусством. И надо признать, художнику великолепно удается сочетать эти противоположности в своем творчестве. В Париже он написал два жанровых реалистических полотна «Продавец бананов» и «Продавец пива», а также большую серию жанровых картин парижских улиц. Здесь же в Париже создана им и серия абстрактных композиций. Множество его абстрактных работ были приобретены музеями.

Интересно отметить, что в Париже Какабадзе, казалось, забыл свою любимую тему — «Имеретию». Но как раз перед выездом на родину, в 1927 году, он вновь возвращается к ней. Как видно, тема эта на самом деле не была забыта художником. Новая монохромно написанная картина его называется «Индустрия». Трудно сейчас понять, что именно хотел сказать он этой фантастической картиной. Что это, эксперимент слияния действительности и фантастики или программа будущей работы? Ясно только одно: этой странной картиной художник порывает с абстрактными упражнениями. А тема индустриализации не покидает его. В индустриализации художник чувствует прогресс новой эпохи. Показ природы, преобразованной силой этого прогресса, он считает для себя почетной задачей.

Вернувшись на родину, уже в Советскую Грузию, он стремится принести как можно больше пользы новому обществу.

В первые годы после возвращения Давид Какабадзе работает как художник-декоратор и одновременно ведет большую педагогическую и общественную работу. До 1933 года он не создает ни одной станковой картины. Как живописец он молчит, но это молчание говорит о многом. Он упорно ищет новую тему и стремится отлить ее в новой форме. Тему эту он вновь находит в своей родной Имеретии, преобразованной новым индустриальным строительством. И теперь уже это не мечта, не фантастика, а увиденный воочию реальный индустриальный пейзаж «Рионгэс» (1933 г.). Эта работа — начало нового этапа в творчестве Д. Какабадзе и в то же время она неразрывно связана с его ранними живописными достижениями.

На этот раз художник не перевоплощает невидимое в видимое, а художественно воплощает осязаемую действительность. Картина строительства Рионгэса интересна своим строгим и чертительно-линейным рисунком. Линейка и рейшина вносят порядок в свое-

образную хаотичность строительства генераторной станции. Но капризная линия земли, так же как и условный рисунок травы, навеянный грузинскими миниатюрами, и прозрачно залитые акварелью площади, придают всей картине своеобразную художественную прелесть, декоративность.

Эта картина отразила переломный момент в мировоззрении Д. Какабадзе. Она показала, какой путь прошел художник от ранее написанной им в Париже «Индустрии», — путь от ирреального к реальному.

В этой работе, скорее архитектурном рисунке, нежели живописном этюде, проявляется характерная любознательность Д. Какабадзе, присущее ему стремление с доскональной точностью разобраться в технических сооружениях.

Но Д. Какабадзе как художника-станковиста не могли бы удовлетворить лишь этюды, в которых, правда, отчетливо проступает художественная задача и есть даже попытка внести сугобо декоративные элементы. И, как и следовало ожидать, вскоре появляются его картины — «Рионгэс» (1934 и 1939 гг.), «Митинг в Имеретии» (1942 г.) и «Небо Родины» (1942 г.).

Первые из них показывают Имеретию в праздничном настроении, строящуюся и ликующую. На последней — потревоженное разрывами вражеских снарядов небо родного края. Эти полотна — совершенно новые по содержанию, если сравнить их с полотнами 1918 года. Здесь мы уже не видим пейзажей, окрашенных феодальной романтикой, развалин крепостей и башен, перед нами — картины новой индустриальной Грузии. В них звучит колорит, интенсивнее краски. Этот нюанс — свидетельство творческого перевоплощения художника, рождения его нового видения. И в этом — специфика художественного роста Д. Какабадзе.

Однако несмотря на эти отличия поздних «имеретинских» работ, «Имеретия» является единым циклом в творчестве художника и одной из основных линий его художественно-декоративных поисков. В этой теме поиски направлены не столько к иллюзорному предметно-осозательному воспроизведению действительности, сколько к передаче характерной декоративной красоты пейзажа. Такая задача подсказана художнику самим же ландшафтом Имеретии, и потому какабадзево обобщение Имеретии, обобщение, доведенное почти до предела абстрагирования, читается как возвышенное перевоплощение реальной действительности. Художественный облик имеретинской природы настолько правильно запечатлен художником и настолько правилен внутренний, поэтический взгляд живописца, что увиденную

им Имеретию и сегодня мы воспринимаем в «какабадзево» аспекте.

И если правомочно живопись сопоставить с музыкой, то можно сказать, что в имеретинских пейзажах Д. Какабадзе уловил полифоническое богатство живой народной музыки Западной Грузии и как никто другой сумел точно и верно воспроизвести в живописи особенность ее прерывающегося ритма, вторящие голоса и затейливые ходы «криманчули». Это и есть то достоинство творческого перевоплощения, которое присуще лишь истинному творцу.

Привлекает внимание одна своеобразность имеретинских пейзажей Д. Какабадзе. В них чувствуется солнце, но нигде не видны его лучи. Это не случайный парадокс. Художник ставит задачей не изображение ярких солнечных лучей в имеретинском пейзаже, а, как он сам объясняет, — «пишет отраженный свет, излучаемый интенсивностью цвета». Эта задача полностью решена в «Красной горе», написанной в 1944 году. И «Красной горой» и завершается имеретинский цикл в творчестве Давида Какабадзе.

В творчестве художника еще в ранний период наметилась линия воспроизведения реальной действительности реалистическим методом. Эта здоровая, заложенная в юношеские годы тенденция предметного видения мира, твердо закрепленная в академической школе Димитриева-Кавказского и полностью проявленная в картине «Имеретия — мать моя», является путеводителем в творческой жизни Какабадзе. В 1913 году под влиянием модного в то время «кубизма» он создает ряд кубистических композиций и среди них — «Автопортрет», но одновременно пишет и замечательный реалистический «Автопортрет с гранатами».

Мы допустили бы ошибку, сочтя декоративные поиски художника за случайное увлечение, дань моде. Сам Какабадзе в своих высказываниях о путях развития своего творчества отлично все это разъясняет. Ведь тогда, до Октябрьской революции, в «эпоху машинизма», он верил в прогрессивность кубизма и, помимо этого, считал, что для роста художника необходимо ознакомиться с «различными принципами искусства». Но, захваченный жаждой познания, он тогда еще не понимал, что абстрактное искусство не сможет создать глубоко содержательных художественных произведений. Художник предполагал, что сумеет примирить непримиримое («Индустрия», написанная в 1927 г.).

Советская действительность поставила перед Д. Какабадзе иные задачи.

Новый и последний этап в творчестве Какабадзе — это 1949-1951 годы. Сейчас его художественное видение исходит от объективной оценки действительности.

Он окончательно отходит от ярких декоративных решений, характерных для имеретинского цикла. В 1949 году Давид Какабадзе создает два больших живописных полотна: «Поти. Элеватор» и «Сванетия. Обработка руды». В обеих картинах предметы переданы в своих реальных качествах, характерны своей фактурностью. Осязательно передается твердость отвесной скалы, мягкая воздушность туманов и глубина морской воды. Не изменяют художнику и присущее ему чувство декоративности в лучшем его понимании, и острота композиционной изобретательности.

Монументальность скал Сванетии, тронутая ржавчиной их окраска являются источником художественного вдохновения Какабадзе. Притаившиеся у подножья скалы домики, машины, люди или видимая над скалой в верхней части картины тонкая полоска неба подчеркивают масштабность и величавость природы.

В картине «Поти. Элеватор» беспредельность морской дали и необозримость неба подчеркнуты вертикалями вознесшейся ввысь монолитной архитектуры элеватора, стремительная перспективная линия здания энергично врывается в глубину картинной плоскости. Если мы вспомним Бретанский цикл условных марин, станет ясным, какой огромный эволюционный путь поисков был пройден художником.

Другие пейзажи этого периода примечательны показом «утилитарной» стороны природы («Обработка руды», «Обработка гумбрина в окрестностях Кутаиси»), строительства («Погрузка марганца», «Казбеги»). Художник откликается и на строительство гиганта индустрии Советской Грузии — Рустави («Первая выплавка стали», «Доменная печь»).

Но и в «индустриальных» пейзажах художник не остается равнодушным к художественной стороне картины, к ее форме. Ему и сейчас, как и всегда, глубоко чуждо равнодушное, лишённое интереса «повествование», голая фиксация действительности. Работы Какабадзе отличаются активным отношением к реальной жизни, осмысленным перево-

лощением ее с позиций современности. Художник ищет типичное, характерное для сегодняшнего дня. О виденном, прочувствованном он говорит возвышенным поэтическим языком.

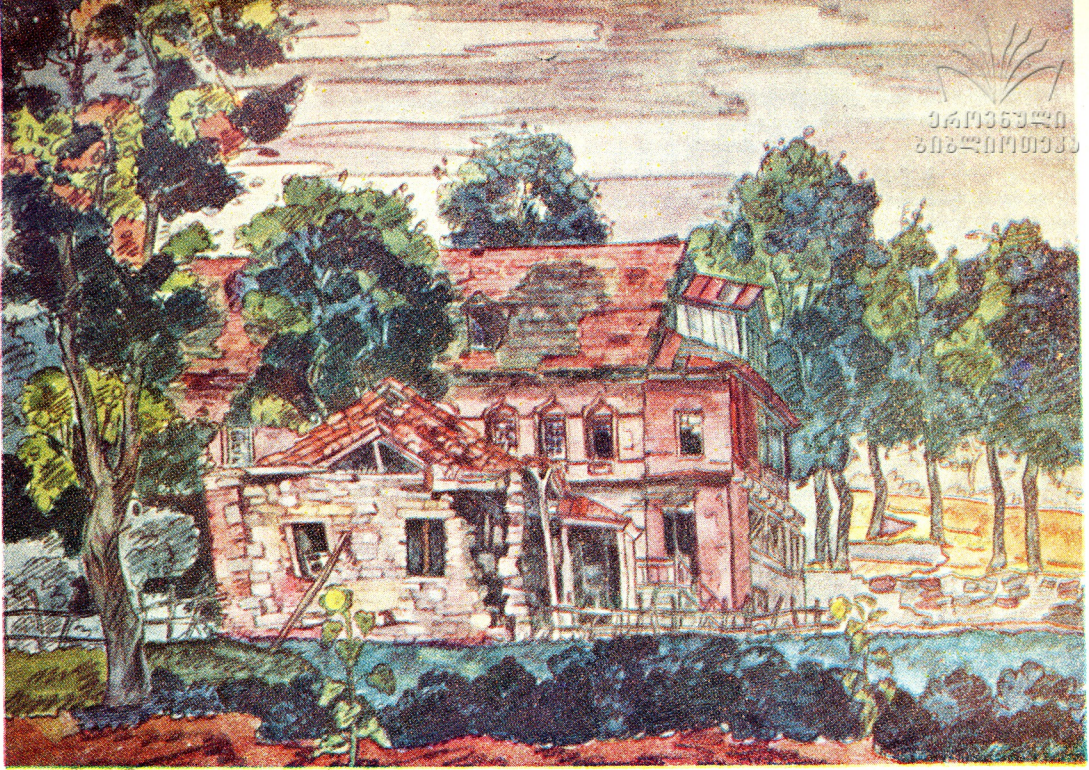
Мозаичность ранней живописи, построенная на контрастном сопоставлении цветowych пятен, сменяется теперь иной манерой написания: передача глубинного достигается уже путем светотени и колоритными нюансами одной общей гаммы цветов.

Эти новые картины-пейзажи интересны не только своей новой формой, качеством нового обобщения и типичностью, но и тем, что в индустриальный пейзаж художник вводит теперь новую тему — Человека, создателя материальных благ и преобразователя самой природы. Правда, в картинах 1949 года человек и труд все еще остаются стаффажем пейзажа, но в одном из последних этюдов для задуманной большой живописной композиции художник избежал этой стаффажности. В выполненном в 1951 году эскизе «Обработка гумбрина в окрестностях Кутаиси» найден интересный композиционный прием: на фоне обработанных террас гумбрина выстроились в ряд, словно в строчки, рабочие и вагонетки. Строчки эти заполняют все пространство в картине. Характерная для процесса труда четкая ритмичность, согласованные движения и энергичный темп придают композиции некоторую патетичность и возвышенность. Эта работа — последняя, лебединая песнь художника, посвященная труду, и новая ступень его творческого пути.

К сожалению, Давид Какабадзе успел лишь взойти на эту новую ступень — неожиданная смерть прервала его плодотворную работу, не дав воплотить широкие творческие замыслы.

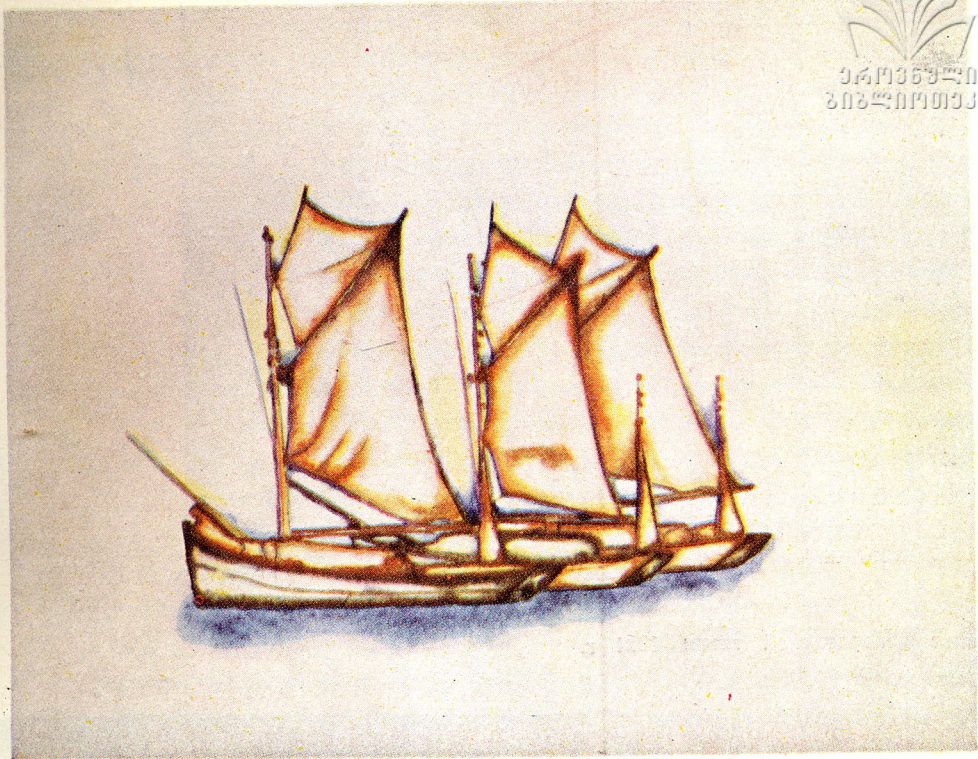
Но богатое наследие, которое оставил нам художник, свидетельствующее о его многогранном, ярком таланте, пылливом уме, большом сердце гражданина и патриота — это одна из интереснейших страниц в истории грузинского изобразительного искусства.

საქართველოს
სახელმწიფო



Коджори 1944 г





Бретань. 1921 г.



Г. БЕБУТОВ

ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА ПОБЕДЫ

К 100-летию со дня рождения В. Вересаева

Викентию Викентьевичу Вересаеву — медаль «За оборону Кавказа». Это — малоизвестный факт из биографии замечательного русского писателя. Награда была вполне заслуженной. Симон Чиковани писал в июне 1945 года: «Викентий Викентьевич в суровые дни Отечественной войны жил и работал среди нас, в Тбилиси. С неиссякаемой энергией, не покладая рук, он трудился для общего дела победы над врагом; своими частыми выступлениями в печати и среди бойцов он снискал себе широкую популярность. Правительство Грузинской республики представило В. В. Вересаева к награждению медалью «За оборону Кавказа».

В августе 1941 года Викентий Викентьевич был эвакуирован из Москвы в Нальчик, где он поселился в Доме отдыха. Там писатель закончил свой многолетний труд — перевод с древнегреческого языка поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».

С большим творческим удовлетворением рассказывал мне Викентий Викентьевич об этой работе, когда приехал в конце декабря 1941 года в Тбилиси и я встретился с ним по заданию редакции газеты.

То были самые напряженные дни первого года войны. Враг подступил к Москве и уже испытывал на себе сокрушительные удары советских Вооруженных Сил, перешедших в контрнаступление.

А Викентий Викентьевич тихим спокойным голосом говорит: «У нас есть старый перевод «Илиады», принадлежащий Гведичу, — один из лучших переводов «Илиады» в мировой литературе». Затем объясняет, почему современному читателю уже трудно одолеть этот перевод и что заставило его взяться за новый перевод поэмы...

И снова стучится в виски назойливая мысль: «Да разве время говорить об этом сейчас, когда...» Да, время! Работа, проделанная маститым писателем над памятниками мировой литературы приобретала особый смысл именно в дни Отечественной войны. Это он сам хорошо выразил в заключительных строках статьи, переданной мне на следующий день для опубликования:

«Фашизм сжигает творения великих писателей, громит наши музеи — Льва Толстого, Пушкина, Чайковского, с вызывом, без оглядки и без стыда провозглашает древний германский вандализм как высшее достижение своего нацистского «порядка».

У нас же и под гром пушек продолжается широкая культурная работа и предоставляются для нее все возможности».

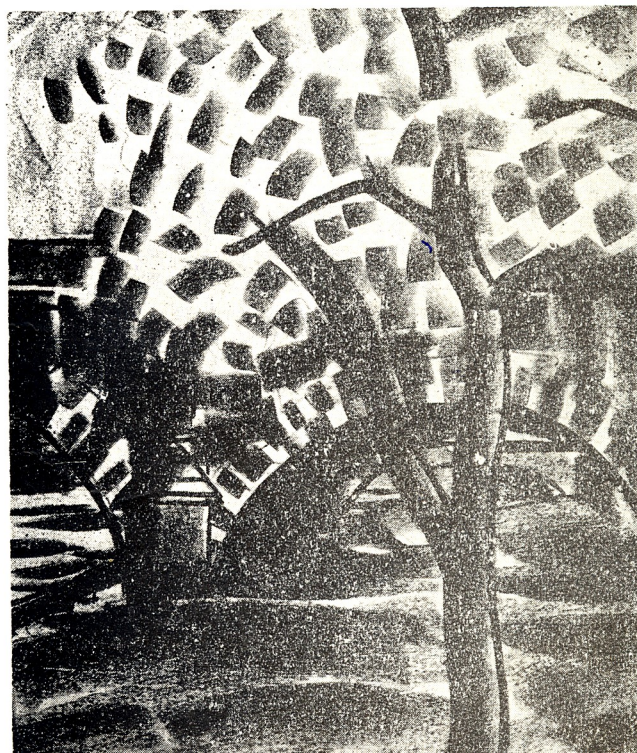
Под статьей: Тбилиси, 30 декабря 1941 года.

При втором посещении В. В. Вересаева я застал его собирающимся идти в театр. Он передал мне конверт со статьей и письмом, написанным на случай, если мы не встретимся. В письме было всего несколько строк: «Театр им. Марджанишвили прислал мне билет на сегодняшнюю свою премьеру, поэтому не могу Вас повидать. Статью прилагаю. Что найдете лишним, вычеркивайте. Но категорическое условие (!) ничего не прибавлять.

С приветом В. Вересаев».

По моей улыбке при чтении письма он мог заключить, что его «условие» принято.

Последующие дни у Викентия Викентьевича, которому исполнилось тогда 75 лет, были расписаны на новые встречи, творческие вечера, публицистические выступления, которые служили одной цели — защите Родины, защите мировой культуры, утверждению нашего подлинно человеческого гуманизма.



В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»

ЧИТАЙТЕ:

Повесть Н. Цулейскири «Белая гора».
Рассказ К. Лордкипанидзе «Высокий потолок».
Стихи А. Мирцхулава, К. Каладзе, А. Межирова,
М. Лебанидзе, О. Челидзе, Д. Чарквани.
Под рубрикой «К 50-летию Октября» печатаются архивные документы первых лет Советской Грузии.

«Наши публикации» — этот раздел журнала познакомит читателей с неизвестными письмами Г. Табидзе, Ю. Тынянова, рассказом М. Пришвина.